НОГА КАК ТОЧКА ОПОРЫ

ОЛИВЕР САКС

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Нога как точка опоры» — самое своеобразное из «клинических» произведений Сакса. Его необычность заключается в тон, что известный ученый в результате несчастного случая сан оказывается в роли пациента.

Однако автобиографическое произведение Оливера Сакса — не рутинная история заболевания и выздоровле”ния, а живое, увлекательное и умное повествование о человеческих отношениях, физических, психологических и экзистенциальных аспектах болезни и борьбы с ней, и прежде всего — о физиологической составляющей человеческой личности.

- Предисловие
- I. Гора
- II. Пациент
- III.Неизвестность
- IV. Первые движения
- V. Solvitur Ambulando23
- VI. Выздоровление
- VII. Понимание
- Послесловие 1991 года
- Аннотированная библиография
- Благодарности
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52

Медицина всегда заявляет, что во всех предписаниях исходит из опыта. Следовательно, Платон был прав, когда говорил, что настоящему врачу, стремящемуся усовершенствоваться в своем искусстве, следовало бы испытать все болезни, которые он намеревается лечить, все случаи и

обстоятельства, на основании которых он должен принимать решения... Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие, руководя нами, уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли, гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собой взад и вперед игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают.

Мишель Монтень[1]

Предисловие

Том Ганн выразительно писал о «поводах для открытий» в поэзии. В науке таких поводов не меньше, чем в искусстве: иногда это приснившаяся метафора, подобно змее Кекуле, иногда аналогия, подобно яблоку Ньютона, иногда событие, неожиданно обретающее невообразимую важность, подобно восклицанию Архимеда «Эврика!». Каждая такая случайность может стать открытием.

Поводы к открытиям в медицине порождаются практикой, непосредственным общением с пациентами, их болезнью или травмой. Поводом для создания этой книги стало мое собственное увечье, полученное вследствие несчастного случая в горах Норвегии. Хотя медицина — моя профессия, я никогда раньше серьезно не болел, а теперь был и врачом, и пациентом одновременно. Я представлял себе свое увечье (значительное, но без осложнений повреждение мышц и нервов) как нечто простое и рутинное, и меня поразило множество последствий, которое оно вызвало: паралич и отчуждение ноги, превратившее ее в «объект», казавшийся со мной не связанным; бездну странных и даже пугающих эффектов. Я и представления не имел, как понимать эти последствия, и начал бояться, что могу никогда не поправиться. Полное выздоровление пред ставлялось мне чудом. С тех пор я стал понимать, как может быть ужасна и прекрасна жизнь, и зависит это только от нашего здоровья.

Глубоко обеспокоенный и озадаченный этими необычными последствиями — общим резонансом, так сказать, местного повреждения — и отсутствием адекватного утешения со стороны собственного доктора, я обратился к выдающемуся нейропсихологу А.Р. Лурии в Москву. «Такие синдромы, возможно, встречаются часто, но очень редко описываются», — ответил он мне. Когда я поправился и вернулся к медицинской практике, я убедился, что это так и есть. В последующие годы я обследовал несколько сотен пациентов, страдавших нарушениями представлений о своем теле и телесном «я», вызванными неврологическими причинами и по сути сходных с моим собственным случаем. Свою работу и ее приложения я кратко описываю в последней главе этой книги и рассчитываю позднее опубликовать подробную монографию на эту тему.

Таким образом, здесь переплетаются многие темы: специфические нейропсихологические и экзистенциальные феномены, связанные с моим увечьем и выздоровлением, пребывание в роли пациента и последующее возвращение в мир

здоровых людей, сложности взаимоотношений врача и больного, приложение моих выводов к большой группе пациентов, размышления о таком приложении и его значении. Это привело в конце концов к критике современной неврологической медицины и к представлению о том, чем могла бы стать такая медицина в будущем.

Все это, впрочем, случилось только через несколько лет. Поводом послужило долгое путешествие поездом из Бостона в Нью-Йорк, во время которого я прочел замечательную книгу Генри Хэда «Исследования по неврологии» (1920). Он описывал случай, очень схожий с моим собственным, от изучения эффекта повреждения нерва до общих концепций образа тела и телесной гармонии. Последняя глава моей книги была написана в горах Коста-Рики. Это было завершением одиссеи, начатой на той судьбоносной горе в Норвегии.

За исключением последней главы, материал в книге излагается не систематически. Она может рассматриваться как своего рода неврологический роман или повесть, основанная на личном опыте и неврологических фактах, подобных тем, которые А.Р. Лурия излагает в «Потерянном и возвращенном мире» и других своих «нейрографиях».

В моей работе меня очень воодушевлял вышеупомянутый А.Р. Лурия, с которым я имел честь переписываться с 1973 года до его смерти в 1977 году. «Вы открываете совершенно новый мир, — писал он мне. — Пожалуйста, опубликуйте свои наблюдения. Это поможет изменить «ветеринарный» подход к периферическим нарушениям и откроет дорогу к более глубокой и более гуманной медицине». Покойному А.Р. Лурии, пионеру новой, более гуманной медицины, я с благодарной памятью посвящаю эту книгу.

Лондон — Нью-Йорк

Оливер Сакс

I. Гора

Этот мир в бездонной своей молчании знать не знал о радушии. Гостя он принимал как незваного пришельца, вернее и вовсе не принимал, не привечивал, только терпел его вторжение, его присутствие, терпел неподобающим образом, ничего доброго не сулящим, и от этой терпимости веяло чем-то стихийным, грозным, не враждебным даже, а безразличным и смертоносным.

Томас Манн[2]

Утро субботы двадцать четвертого было пасмурным и хмурым, однако позже погода обещала улучшиться. Я мог бы начать свое восхождение через сады и леса предгорий рано и к полудню, как мне представлялось, достичь вершины горы. К тому времени, наверное, прояснится, и с вершины откроется потрясающий вид — на более низкие горы, уходящие к фьорду Хардангер, и на весь сам огромный фьорд. Восхождение предполагает необходимость карабкаться на скалы, натягивать веревки... однако мне предстояло восхождение совсем другого рода — просто подъем по крутой горной тропе. Я не предвидел особых проблем или трудностей. Я был силен как бык, в отличной физической форме — и предвкушал прогулку с уверенностью в своих силах и надеждой получить массу удовольствия.

Я скоро вошел в ритм ходьбы — двигался той раскачивающейся походкой, благодаря которой расстояние покрывается быстро. Я вышел до рассвета и к половине восьмого поднялся, пожалуй, на две тысячи футов. Предрассветный туман уже начал рассеиваться. Теперь я шел через темный сосновый лес, и продвижение мое замедлилось — отчасти из-за узловатых корней, отчасти из-за очарования того мира крохотных растений, которым лес давал укрытие; я часто останавливался, чтобы рассмотреть незнакомый папоротник, мох или лишайник. Впрочем, к началу десятого я все- таки миновал лес и вышел к огромному конусу, который, собственно, и был горой и возвышался над фьордом на шесть тысяч футов. К моему удивлению, передо мной оказалась ограда и калитка в ней, на

которой висело еще более озадачивающее предостережение «Берегись быка!» по-норвежски, сопровождавшееся для тех, кто мог оказаться не в состоянии это прочесть, довольно забавным изображением человечка, подкидываемого бычьими рогами.

Я остановился, рассмотрел картинку и почесал в затылке. Бык? На такой высоте? Что быку здесь делать? На пастбищах и во дворах ферм на нижних склонах я не видел даже овец. Может быть, это какая-то шутка деревенских жителей или альпиниста с извращенным чувством юмора? А может быть, бык все-таки есть, проводит лето на просторном горном пастбище, пробавляясь скудной травкой и колючими ветками кустарника? Ладно, хватит гадать! Вперед, к вершине! Дальше почва сделалась совсем другой. Она стала очень каменистой, усеянной тут и там валунами, местами влажной от прошедшего ночью дождя, но с изобилием травы и стелющегося кустарника — тут животному, имеющему в своем распоряжении всю гору, пищи хватило бы. Тропа, хоть и хорошо заметная, но явно мало используемая, круто шла вверх. Да, это не самая посещаемая часть света... Посетителей, кроме меня, видно не было, а фермеры, как мне представлялось, были слишком заняты посевами, рыбной ловлей и другими делами, чтобы прогуливаться по окрестным горам. Что ж, тем лучше. Вся гора в моем распоряжении! Вперед и выше! Хотя я не мог видеть вершины, я уже поднялся, по моим оценкам, на 3000 футов, и если тропа останется просто крутой, но не коварной, я, как и планировал, к полудню буду на вершине. Так что я шел дальше, достаточно быстро, несмотря на крутизну, благословляя свою энергию, выносливость и особенно сильные ноги, натренированные годами постоянных упражнений. Сильные мышцы, мощные легкие, надежный скелет — я заставлял себя тренироваться, совершал дальние за и долгие восхождения, так я выражал свою признательность природе, щедро наградившей меня здоровьем. К одиннадцати часам, когда это позволяли перемещающиеся полосы тумана, я начал бросать взгляды на вершину, не такую уже теперь далекую, — да, к полудню я до нее доберусь. Легкий туман еще полностью не рассеялся, он иногда не позволял отчетливо разглядеть утесы. Некоторые из них, полускрытые туманом, казались огромными притаившимися животными, и их очертания становились четкими, только когда я подходил близко. Бывали моменты, когда я останавливался в сомнении, разглядывая туманные тени перед собой...

В тот момент, когда все случилось, я как раз вынырнул из тумана, обходя утес размером с дом; тропа шла вокруг него, так что я не мог видеть, что находится впереди, и именно это обстоятельство позволило произойти встрече. Я практически

наткнулся на огромное животное, разлегшееся на тропе и полностью ее перекрывшее; закругленный бок утеса скрывал его от меня. У животного была мощная рогатая голова, необъятное белое тело и чудовищного размера кроткая светлая морда. Оно совершенно спокойно отнеслось к моему появлению, только повернуло в мою сторону голову. Однако в тот же момент произошла перемена: увидев меня, бык преобразился из великолепного животного в устрашающее чудовище. Огромная белая голова, казалось, все росла и росла, а в выпуклых глазах заплывы сверкала злоба. Морда становилась такой огромной, что я подумал: не заслонит ли она всю вселенную?.. Бык сделался страшен — невероятно страшен, страшен своей силой, злобой и сообразительностью. Теперь он был олицетворением зла. Сначала он выглядел чудовищем, теперь же — самим дьяволом.

Я сохранил самообладание — или что-то на него похожее — и, словно прогулка была закончена, развернулся на 180 градусов и молча и осторожно начал спускаться. Но тут — кошмар! — нервы мои неожиданно сдали, меня охватил ужас, и я кинулся бежать, словно спасаясь от смерти. Я бежал как сумасшедший, ничего не видя, по крутой грязной скользкой тропе, местами скрытой клочьями тумана. Эта слепая безумная паника — на свете нет ничего хуже и ничего опаснее! Я не могу точно описать, что случилось. В своем бегстве по предательской тропе я, должно быть, оступился — камень под моей ногой подался, нога не нашла опоры... Получилось так, словно этот момент выпал из моей памяти.

Существовали «до» и «после», но никакого «между». В одну секунду я мчался как сумасшедший, слыша только пыхтение и тяжелые шаги, гадая, исходит ли этот шум от быка или от меня самого, а в следующую — уже лежал у подножия невысокого острого утеса, с подогнутой странным образом левой ногой, испытывая такую боль в колене, какой не испытывал никогда. Быть полным сил и бодрости — и через мгновение стать фактически беспомощным, быть олицетворением здоровья — и вдруг стать калекой, лишиться возможности быть самостоятельным — это такая перемена, такая неожиданность, которую трудно понять; разум судорожно начинает искать объяснение случившемуся.

С этим феноменом я сталкивался — у других, у моих пациентов, неожиданно заболевших или получивших травму... и вот теперь я испытывал это сам. Моя первая мысль была такой; произошел несчастный случай, и кто-то, кого я знаю, серьезно пострадал. Позже до меня дошло, что пострадавший — я сам, но одновременно возникло чувство, что на самом деле ничего

серьезного не случилось. Чтобы доказать это, я поднялся на ноги — точнее, попытался, но тут же рухнул, потому что левая нога совершенно мне не подчинялась и подогнулась, как вареная макаронина. Она совсем не могла служить опорой и просто согнулась — согнулась коленом назад, заставив меня завопить от боли. Однако так безумно испугала меня не боль, а безжизненная шаткость колена — и моя полная неспособность управлять ногой. А затем ужас, на мгновение ставший всеобъемлющим, уступил место «профессиональному подходу».

«Хорошо, доктор, — сказал я себе, — не будете ли вы так любезны и не обследуете ли ногу?»

Очень профессионально, совершенно безлично и никак не нежно, как будто я был хирургом, обследующим пациента, я принялся за дело — приподнял ногу, ощупал ее, подвигал туда-сюда. Делая это, я вслух говорил об обнаруженном, словно обращаясь в аудитории к студентам: «Колено не может двигаться, джентльмены, бедро тоже... Как видите, четырехглавая мышца полностью оторвана от коленной чашечки. Однако, хотя она и оторвана, она не сократилась — она полностью вялая, что может говорить также о повреждении нерва. Коленная чашечка лишилась своего основного соединения, она подвижна — вот так! — как мячик. Она легко смещается — ее ничто не удерживает. Что же касается самого колена, — говоря это, я иллюстрировал каждое свое заключение, — обнаруживается его ненормальная подвижность, совершенно патологический размах перемещения. Оно может быть согнуто без всякого сопротивления, — тут я рукой пригнул пятку к ягодице, — а также чрезмерно растянуто с явной дислокацией. — Эти движения заставили меня вскрикнуть. — Да, джентльмены, — заключил я, подводя итог, — поразительный случай! Полный разрыв связок четырехглавой мышцы. Мышцы парализованы и вялы — можно предположить повреждение нервов. Коленный сустав неустойчив — перемещается в обратном направлении. Возможно, порваны крестообразные связки. Не могу ничего наверняка сказать о повреждениях костей, однако вполне можно предположить одну или несколько трещин. Заметный отек, вызванный, возможно, излитием суставной жидкости, но нельзя исключить и разрыва кровеносных сосудов».

Я с довольной улыбкой повернулся к своей невидимой аудитории, словно ожидая аплодисментов. И тут неожиданно «профессиональный подход» и личина улетучились, и я понял, что «поразительный случай» — это я сам, сильно травмированный, возможно, обреченный на смерть. Нога была полностью бесполезна. Я был совершенно один, недалеко от

вершины горы, в малонаселенной местности. О моем местопребывании никто не знал, и это пугало меня больше всего остального. Я мог умереть там, где лежал, и никто об этом не узнал бы.

Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким, потерянным, брошенным, таким лишенным надежды на помощь. До этого момента мне не приходило в голову, что я пугающе и отчаянно одинок. Я не испытывал одиночества, поднимаясь на гору (как не испытывал его никогда, получая удовольствие). Я не чувствовал одиночества, обследуя свои повреждения (только теперь я понял, какую поддержку оказывала мне воображаемая аудитория). Теперь совершенно неожиданно на меня обрушилось устрашающее чувство изоляции. Я вспомнил, как за несколько дней до того кто-то рассказывал мне о «дураке-англичанине», который два года назад в одиночку поднимался на эту самую гору; его через неделю нашли сломавшим обе ноги и умершим от переохлаждения. Я находился на таких широте и долготе, где ночью даже в августе температура опускается значительно ниже нуля. Необходимо, чтобы меня нашли до наступления ночи, иначе я не выживу. Нужно спуститься ниже, если удастся, потому что тогда по крайней мере появится шанс, что меня увидят. Я даже начал надеяться, обдумав свое положение, что мог бы сам спуститься к подножию горы, опираясь на палку; только много позже я понял, каким утешением было это заблуждение. И все же, если мне удастся взять себя в руки и сделать то, что в моих силах, у меня мог появиться некоторый шанс выкарабкаться.

Я неожиданно совершенно успокоился и сосредоточился. Первым делом нужно было заняться ногой. Я обнаружил, что хотя любое перемещение колена вызывало мучительную боль и буквально физиологический шок, я чувствовал себя достаточно хорошо, когда нога неподвижно лежала на земле. Однако если я начну двигаться, не имея какой-либо «внутренней структуры», которая поддерживала бы ногу, я буду лишен защиты от беспомощных пассивных движений колена, связанных с любой неровностью земли. Таким образом, ясно, что требовалась внешняя структура — иначе говоря, шина.

И тут мне на помощь пришло одно обстоятельство: я привык всегда носить с собой зонт. Мне кажется совершенно естественным (а может быть, это происходило просто автоматически), отправляясь на прогулку (даже если это было восхождение на гору в милю высотой), захватить с собой мой прочный надежный зонт. Кроме того, при подъеме он бывает полезен как трость. И в тот момент наивысшей необходимости он стал шиной для ноги, приспособлением, без которого я едва ли

смог бы двигаться. Я отломал ручку зонта и разорвал на части свой анорак. Длина зонта оказалась как раз такой, как нужно. Его прочное древко почти соответствовало длине ноги, и я привязал его широкими полосами, оторванными от анорака, достаточно туго, чтобы не позволить колену беспомощно двигаться, но не настолько туго, чтобы остановить кровообращение. С момента моего несчастья прошло минут двадцать — или меньше? Неужели все это могло случиться за такое короткое время? Я посмотрел на часы, гадая, не остановились ли они, но секундная стрелка двигалась совершенно равномерно. Время, отмеряемое ею, абстрактное, безличное, хронологическое, не имело никакого отношения к моему времени — времени, состоящему исключительно из мыслей о спасении. Глядя на циферблат, я в воображении сравнивал движение стрелок, равномерно идущих по кругу, и безжалостную регулярность перемещения солнца по небу с моим собственным неуверенным спуском с горы. Я и думать не мог о том, чтобы поторопиться, — это привело бы к изнеможению. Не мог я позволить себе и проволочек — это было бы еще хуже. Мне нужно было найти правильный темп и неуклонно его выдерживать.

Я обнаружил, что теперь с благодарностью думаю об имеющихся у меня предметах, — до того я мог думать только о своем увечье. По милосердию судьбы я не разорвал артерии или какого-то крупного сосуда, что вызвало бы внутреннее кровотечение: колено только немного опухло, и нога не похолодела и не посинела. Четырехглавая мышца была парализована, это так, но дальнейшего неврологического обследования я не проводил. При падении я не сломал позвоночник и не разбил череп. И — слава Богу! — у меня были три здоровые конечности и достаточно энергии и сил, чтобы бороться. Клянусь, бороться я буду! Это будет борьба за жизнь, самая главная борьба в жизни.

Спешить я не мог — я мог только надеяться. Однако мои надежды не оправдаются, если меня не найдут до наступления ночи. Я снова посмотрел на часы — в этих широтах вечер наступает поздно, а примерно с шести часов постепенно становится темнее и холоднее. К половине восьмого будет уже совсем холодно и почти ничего не видно. Меня должны были найти самое позднее в восемь. В половине девятого сделается совершенно темно — нельзя будет ничего разглядеть и станет невозможно передвигаться. И хотя благодаря активным упражнениям я смог бы — возможно — пережить ночь, шанс на это был очень, очень невелик. Я на мгновение вспомнил героев Толстого, — но со мной не было другого человека, с которым мы

могли бы друг друга согревать. Ах, если бы у меня был спутник! Мне неожиданно пришли на ум слова из Библии, которую я не перечитывал с детства и обычно не вспоминал: «Двоим лучше, нежели одному... ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его»[3]. Меня посетило ясное воспоминание о маленьком зверьке, которого я видел на дороге, — с перебитой спиной, пытающемся приподняться на парализованных задних лапках. Сейчас я чувствовал себя в точности как это существо. Мое ощущение принадлежности к человечеству как нечто отдельное, возвышающее меня над животным царством и смертностью, также на мгновение исчезло, и опять пришли на ум слова Екклесиаста: «Участь сынов человеческих, и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом»[4].

Прикрепляя шину к ноге, я был занят и опять «забыл» о том, что смерть таится поблизости. Теперь же Проповедник снова напомнил мне об этом. «Однако, — воскликнул я в душе, — инстинкт жизни во мне силен! Я хочу жить — и, если повезет, выживу. Не думаю, что пришло время мне умереть». И снова мне ответил Екклесиаст, нейтрально и бесстрастно: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время...»[5]Эту странную полную эмоциональную ясность, не холодную и не теплую, не суровую и не снисходительную, но полностью, восхитительно и ужасно правдивую я встречал у других, в особенности у пациентов, ожидавших смерти и не скрывавших от себя правды. Меня поражал, хотя и без полного понимания, простой конец Хаджи-Мурата — когда тот был смертельно ранен, образы без чувств проносились у него в уме; теперь же впервые я испытывал это сам.

Эти образы, слова и «бесстрастные чувства» не промелькнули передо мной, как говорится, в один миг. На это потребовалось время — по крайней мере несколько минут, — то время, которое они заняли бы в реальности, а не во сне; это была неторопливая медитация. Однако они ни в малейшей мере не отвлекли меня от моих занятий. Никто не поймал бы меня на промедлении, на паузе. Напротив, наблюдатель поразился бы моей оперативности и деловитости, тому, как быстро и умело я наложил шину, проверил все, что у меня есть, и двинулся вниз.

Я использовал способ передвижения, никогда ранее мной не применявшийся, — грубо говоря, двигался глютеально[6]с помощью трех конечностей. Другими словами, я съезжал на

заднице, отталкиваясь руками и используя здоровую ногу как руль или, в случае необходимости, как тормоз; пострадавшая нога с наложенной шиной бессильно болталась впереди. Я не придумывал этого необычного и, можно сказать, неестественного способа передвижения — его мне подсказал инстинкт выживания, и я скоро к нему привык. Любой, кто увидел бы, как ловко и сильно я отталкиваюсь руками, скользя вниз по склону, сказал бы: «Ах, да он в этом собаку съел. Такое передвижение — его вторая натура».

Так вот, безногих не нужно учить пользоваться костылями; такое умение приходит без размышлений, естественно, словно человек втайне практиковался в этом всю жизнь. Организм и его нервная система обладают огромным репертуаром «движений-трюков», уловок разного рода — совершенно автоматических стратегий, хранящихся про запас. Мы и не догадывались бы о потенциально существующих ресурсах, если бы не обнаруживали их проявлений в случае необходимости.

Так случилось и со мной. Это оказался достаточно эффективный способ передвижения —- там, где тропа не делала резких поворотов, была ровной и не слишком крутой. Если же встречались неровности, левая нога цеплялась за любые шероховатости — она совершенно не проявляла умения их обходить, — и я то и дело проклинал ее «глупость» и «бессмысленность». Действительно, как только путь становился трудным, приходилось присматривать за этой не только бессильной, но и глупой конечностью. Больше всего меня пугали те участки тропы, которые оказывались слишком скользкими или слишком крутыми, потому что было трудно избежать почти не поддающегося контролю скольжения, заканчивавшегося столкновением или ударом, мучительно отдававшимся в колене и показывавшим несовершенство моей импровизированной шины.

Через некоторое время, после особенно болезненного столкновения, мне пришло в голову позвать на помощь; я заорал во все горло, и мои вопли отдались, казалось, от всех гор в округе. Этот неожиданный звук в тишине испугал меня самого, и тут я неожиданно всполошился: не привлечет ли он быка, о котором я совершенно забыл? Мне представился устрашающий образ животного, снова пришедшего в ярость и мчащегося ко мне, чтобы поднять на рога или затоптать. Дрожа от ужаса, я сумел отползти с тропы и спрятаться за утесом. Там я оставался минут десять, пока ничем не потревоженная тишина не обнадежила меня; я выполз из своего убежища и продолжил спуск. Я не мог решить: были ли мои крики глупой провокацией или я совершаю глупость, боясь звать на помощь? Во всяком случае, я не стал

больше кричать и придерживал язык, когда хотелось выругаться, помня, что я все еще нахожусь во владениях быка, возможно, очень бдительного; более того, я сказал себе: «Зачем кричать? Побереги силы. Ты — единственное человеческое существо на многие квадратные мили вокруг». Так я и спускался в полном молчании, не осмеливаясь даже засвистеть: теперь всюду мне мерещился прислушивающийся бык. Я даже попытался тише дышать. Так и проходили часы в безмолвном скольжении.

Примерно в половине второго, после двух часов спуска, я добрался до бурного ручья с переправой из отдельных камней, пугавшей меня еще по пути наверх, когда у меня были здоровы обе ноги. Было ясно, что тут двигаться, отталкиваясь, мне не удастся. Поэтому пришлось перевернуться и «идти» на выпрямленных руках; даже и в этом случае голова у меня еле возвышалась над водой. Течение было быстрым и бурным, вода ледяной. Моя левая нога, бессильно повисшая, не имеющая опоры, неуправляемая, с силой билась о камни на дне и иногда откидывалась в сторону так, что образовывала прямой угол с телом. Тазобедренный сустав казался почти таким же болтающимся, как и колено, но по крайней мере он не причинял боли — в отличие от колена, выгибавшегося и вывихивавшегося. Несколько раз я чувствовал, что теряю сознание; случись это, я мог бы утонуть. Ругательствами и угрозами я заставлял себя держаться.

— Держись, идиот! Цепляйся за жизнь! Я тебя убью, если ты поддашься, так и знай!

Когда я наконец перебрался на другую сторону, я рухнул на камни, дрожа от холода, боли и шока. Я чувствовал себя обессиленным, поверженным, оглушенным и минуты две лежал неподвижно. Потом изнеможение превратилось в усталость, какую-то необыкновенно приятную расслабленность.

«Как здесь хорошо, — подумал я. — Почему бы не отдохнуть немного, может быть, даже вздремнуть?»

Соблазнительный и усыпляющий внутренний голос словно уговаривал меня, но усилием воли я заставил его замолчать. Здесь не было «хорошо», чтобы отдохнуть и вздремнуть. Такое намерение было смертельно опасным и наполнило меня ужасом.

«Нет! — яростно заявил я себе. — Это говорит Смерть — своим нежным убийственным голосом сирены. Не слушай ее! Никогда не слушай! Ты должен продолжать путь, нравится это тебе или нет. Ты не можешь здесь отдохнуть — отдыхать вообще нельзя! Ты должен найти ритм, которому можешь следовать, и упорно его выдерживать».

Этот хороший голос, голос жизни, взбодрил меня и придал

сил. Я перестал дрожать и избавился от нерешительности. Я снова целеустремленно двинулся в путь и больше не колебался.

Тут мне на помощь пришли мелодия, ритм и музыка (то, что Кант называл «ускоряющим» искусством). До того как я перебрался через ручей, я двигался только с помощью физической силы своих сильных рук. Теперь я, так сказать, двигался с помощью музыки. Я этого не изобретал, все получилось само собой. Я подчинялся ритму, меня вел марш или песня гребцов — иногда песня волжских бурлаков, иногда мой собственный монотонный напев на слова «Ohne Haste, ohne Rastf! Ohne Haste, ohne Rastf!» («Без спешки, без отдыха») с сильным ударением на каждом Haste и Rastf. Никогда еще в моей жизни слова Гёте не находили лучшего применения! Теперь мне не нужно было думать о том, двигаюсь ли я слишком быстро или слишком медленно. Я погрузился в музыку, погрузился в ритм, и это обеспечивало мне правильный темп. Я обнаружил, что ритм обеспечивает совершенную координацию — или, может быть, лучшим словом было бы «подчинение»: музыкальный размер возникал во мне, и все мышцы послушно откликались на него — все, кроме мускулов левой ноги, которые оставались «глухими». Не говорил ли Ницше, что мы «слушаем своими мышцами»? Я вспомнил о днях занятий греблей в колледже — наша восьмерка подчинялась ритму, который задавал рулевой; это было что-то вроде мышечного оркестра с рулевым-дирижером.

Каким-то образом с этой «музыкой» мое продвижение перестало казаться мрачной, полной тревоги борьбой. Возникло даже определенное примитивное возбуждение, подобное тому, которое Павлов называл «мускульной радостью». И к тому же, чтобы порадовать меня еще больше, из-за облаков выглянуло солнце, погладило меня теплыми лучами и скоро высушило мою одежду. Все это весьма положительно на меня повлияло, и только после того, как я довольно долго громким басом распевал свои марши, я неожиданно обнаружил, что о быке совсем забыл. Точнее, я забыл свой страх — отчасти поняв, что он больше неуместен, отчасти сообразив, что он с самого начала был абсурдным. Теперь во мне не было места этому страху, да и какому-либо страху вообще, потому что я был до краев полон музыкой. И даже когда эта музыка (слышимая музыка) не звучала буквально, оставалась музыка моего мышечного оркестра — «безмолвная музыка тела», по замечательному выражению Харви. Под ее звуки, с ритмичностью моего движения я сам стал музыкой: «Ты музыка до тех пор, пока музыка звучит». Я стал созданием из мышц, движения и музыки, существующих неразрывно и звучащих в унисон, — за исключением той

ненастроенной части меня, того несчастного сломанного инструмента, который не мог влиться в оркестр и оставался неподвижным, без ритма и мелодии.

Когда-то в детстве у меня была скрипка, которая случайно разбилась на куски. В отношении своей ноги я теперь испытывал те же чувства, что и давным-давно в отношении той бедной сломанной скрипки. С ощущением счастья, решительностью и бодрящей музыкой смешивалась острая и мучительная горечь потери того музыкального инструмента, каким раньше была моя нога. «Скоро ли она поправится? — думал я. — Когда начнет она исполнять собственную мелодию? Когда присоединится к радостной музыке всего тела? О, когда?»

К двум часам облака разошлись настолько, что я смог наслаждаться великолепным видом на фьорд подо мной и на маленькую деревушку, откуда я вышел девять часов назад. Мне была видна старинная церковь, в которой накануне вечером я слушал моцартовскую мессу до-мажор. Я почти мог разглядеть — нет, и на самом деле мог — крошечные фигурки на улице. Был ли воздух невероятно, сверхъестественно чист? Или это мое восприятие обрело ненормальную остроту? Я подумал о том сновидении, которое пересказывал Лейбниц: он оказался на огромной высоте, глядя на распростершийся под ним мир с его странами, городами, озерами, полями, деревнями, хуторами. Если он хотел рассмотреть какого-то человека — крестьянина, пашущего землю, старуху, стирающую белье, — ему нужно было только направить на него взгляд и сосредоточиться: «Не нужно было никакого телескопа, кроме внимания». Так же было и со мной: мое зрение обострило отчаянное желание, сильнейшая потребность видеть других людей и еще в большей мере быть увиденным ими. Никогда еще не казались люди мне столь дорогими — и столь далекими. Я чувствовал себя таким близким к ним, глядя как сквозь мощный телескоп, и в то же время таким полностью отрезанным от их мира. Если бы только у меня был флаг или сигнальный фонарь, ружье, почтовый голубь, радиопередатчик! Если бы я мог издать действительно гаргантюанский вопль — такой, который был бы слышен на расстоянии десяти миль! Как иначе могли они узнать о том, что есть их товарищ, пострадавший человек, борющийся за свою жизнь на высоте пяти тысяч футов? Я был в поле зрения своих возможных спасителей, и все же, возможно, мне предстояло умереть. В моих чувствах было что- то безличное, вселенское. Я стал бы кричать не «Спасите меня, Оливера Сакса!», а «Спасите страдающее живое существо, спасите жизнь!». Этот призыв я так часто читал в глазах своих пациентов, эта мольба погибающего на

краю пропасти, — могучее, яркое, законное желание остаться в живых.

Прошел час, и еще, и еще — под великолепным безоблачным небом, под солнцем, проливающим бледно-золотой чистый арктический свет. День был прекрасным, земля и воздух в своей красоте, блеске и спокойствии словно погрузились в безмятежность. Часы текли, я упорно продолжал свой путь вниз, а мой разум освободился от тяжких мыслей. Меня посещали давно забытые воспоминания, неизменно светлые, — о летних днях, согретых солнечным светом, который одновременно был счастьем и благословением, о тех летних днях, проведенных с семьей и друзьями, череда которых уходила в самое раннее детство. Сотни воспоминаний проносились у меня в уме за время, которое уходило на преодоление пространства между одним утесом и следующим, но эти воспоминания не были чередой мелькающих лиц и голосов. Каждая сцена полностью переживалась заново, все разговоры вспоминались без каких-либо сокращений. Самые ранние воспоминания касались нашего сада — нашего большого старого лондонского сада, каким он был до войны. Я заплакал от радости, когда его увидел — наш сад с его дорогим мне старым железным забором, просторной ровной лужайкой, только что скошенной (огромная древняя косилка всегда стояла в углу), полосатым гамаком с подушками, каждая из которых была больше меня, — в нем я обожал качаться часами, — и радостью моего сердца — крупными подсолнухами с круглыми соцветиями, совершенно меня завораживавшими и показавшими мне, пятилетнему, Пифагорову тайну мироздания. (Ведь именно тогда, летом 1939 года, я открыл для себя, что соцветия состоят из множества простых цветков, и осознал порядок и красоту мира, что стало прототипом каждого научного открытия и радости, которые мне предстояло испытать в дальнейшем.) Все эти мысли и образы, возникавшие помимо моей воли и проносившиеся у меня в мозгу, были исполнены счастья и благодарности. И только позднее я спросил себя: «Что это за настроение?» — и понял, что оно было подготовкой к смерти. «Пусть твои последние мысли будут благодарностью», — как сказал Оден.

Около шести я совершенно неожиданно заметил, что тени удлинились, а солнце больше не стоит высоко на небе. Какая-то часть меня, подобно Джошуа, стремилась удержать солнце в зените, чтобы продлился золотой и синий день. Теперь я вдруг понял, что наступил вечер и что через час или около того солнце сядет.

Вскоре после этого я добрался до длинного поперечного уступа, откуда открывался вид на деревню и фьорд. До этого

уступа, поднимаясь наверх, я добрался около десяти часов утра: он был примерно на пол пути между воротами и тем местом, где я упал. Таким образом, на расстояние, которое я преодолел чуть больше чем за час при подъеме, при спуске у меня с моим увечьем ушло почти семь часов. Я увидел, как чудовищно, как оптимистично я ошибся в расчетах, сравнивая свое сползание с ходьбой: теперь я видел, что вниз спускался в шесть раз медленнее. Как мог я вообразить, что спуск займет вдвое больше времени, чем подъем, и что я окажусь в окрестностях самой высоко расположенной фермы к наступлению сумерек? В долгие часы моего путешествия я согревался — вперемежку с возбужденными и не такими уж уютными мыслями — утешительным представлением об ожидающем меня крестьянском доме, мягко освещенном изнутри, о заботливой крестьянке с ямочками на щеках, которая меня накормит и оживит любовью и теплым молоком, а ее муж, мрачный гигант, отправится в деревню за помощью. Меня на протяжении всех бесконечных часов спуска втайне поддерживало это видение, а теперь оно погасло — погасло неожиданно, как свеча; на этом горизонтальном уступе его сменила леденящая душу реальность.

Теперь я мог видеть то, что было скрыто от меня туманом при подъеме, - видеть, как далека, как недостижимо далека от меня была деревня. И все же хотя надежда во мне умерла, меня утешала возможность смотреть на деревушку и особенно на церковь, окрашенную в розовый цвет длинными лучами заходящего солнца. Я мог разглядеть прихожан, собирающихся на вечернюю службу, и меня полностью захватило воспоминание о том, как я сидел в церкви всего лишь накануне и слушал мессу. Воспоминание было таким ярким, что я услышал ее — услышал с такой отчетливостью, что на мгновение решил, что месса исполняется и сегодня и звуки каким-то чудом плывут ко мне благодаря особенностям горного воздуха. Я был глубоко тронут, по щекам у меня потекли слезы; и тут я внезапно понял, что слышу не мессу, а реквием. Мое подсознание заменило одно другим. Или, опять же в силу сверхъестественной акустической иллюзии, я слышал исполняемый в церкви реквием — реквием по мне?

Вскоре после семи солнце скрылось; казалось, с собой оно забрало все цвета и все тепло мира. Не было никакой неторопливой лучезарности заката — здесь все происходило проще, суровее, что больше похоже на Арктику. Воздух внезапно посерел и стал холоднее. Эта серость и холод пронизали меня до мозга костей. Тишина сделалась абсолютной. Я больше не слышал вокруг себя никаких звуков. Я больше не слышал себя.

Все утопало в безмолвии. Были моменты, когда я считал себя умершим, и всеобъемлющая тишина становилась тишиной смерти. Так наступает начало конца.

Неожиданно, не веря собственным ушам, я услышал крик, длинный йодль, раздавшийся где-то совсем близко. Я повернулся и увидел стоящих на скале мужчину и мальчика, смутные силуэты в сгущающихся сумерках — менее чем в десяти ярдах от тропы, чуть выше меня. Я не замечал своих спасителей, пока они не обнаружили меня. Думаю, что в последние темные минуты, когда мои глаза были устремлены на едва видную тропу передо мной или слепо глядели в пространство, я перестал быть настороже, постоянно оглядываясь, как это было на протяжении дня. Вероятно, я полностью перестал осознавать окружающее, отказавшись от всех мыслей о спасении жизни, так что спасение, когда оно пришло, явилось словно ниоткуда — чудо, благодать в самый последний момент. Еще несколько минут — и стало бы слишком темно, чтобы меня увидеть. Мужчина, издавший йодль, стоял, опустив ружье; паренек рядом с ним тоже был вооружен. Они спустились ко мне, и мне не понадобилось объяснять им, в каком я положении. Я обнимал их обоих, целовал их — этих носителей жизни. Заикаясь, на ломаном норвежском я рассказал, что случилось со мной на вершине, а чего не мог выразить словами, попытался нарисовать на земле.

Мои спасители рассмеялись, глядя на изображение быка. Я рассмеялся вместе с ними; неожиданно этот смех разрядил трагическое напряжение. Я почувствовал себя замечательно и, так сказать, комически живым. Мне казалось, что в горах я испытал абсолютно все эмоции, но только теперь до меня дошло, что я ни разу не смеялся. Теперь же я не мог остановиться — это был смех облегчения, смех любви — тот смех, который исходит из самых глубин человеческого существа. Тишина была нарушена, та полная безжизненная тишина, которая словно околдовала меня в последние минуты моего одиночества.

Меня нашли отец и сын — охотники на оленей, разбившие лагерь неподалеку. Услышав шум и заметив движение в кустах, они осторожно приблизились, держа ружья на изготовку и представляя себе возможную добычу; выглянув из-за скалы, они обнаружили, что этой добычей был я.

Охотники дали мне отхлебнуть из фляжки аквавита[7] — и действительно, эта жгучая жидкость была «живой водой».

— Не тревожься, — сказал старший из охотников. — Я спущусь в деревню и часа через два вернусь. Сын останется с тобой. Тебе ничего не грозит — бык сюда не явится!

С момента моего спасения мои воспоминания стали менее

отчетливыми, менее заряженными эмоциями. Теперь я был в руках других людей, на мне больше не лежала ответственность за свои действия и чувства. Мы очень мало говорили с парнишкой, но, несмотря на это, у меня было ощущение полнейшего комфорта в его присутствии. Изредка он зажигал для меня сигарету или протягивал фляжку с аквавитом, которую оставил его отец. Я испытывал наиприятнейшее чувство безопасности и тепла. Я уснул.

Не прошло и двух часов, как явилась процессия крепких крестьян с носилками, на которые они с изрядными трудностями меня погрузили. Моя болтающаяся нога, так долго лежавшая незамеченной, громко возражала, но несли меня вниз по крутой горной тропе осторожно. У калитки — той калитки, предостережение на которой я проигнорировал,

— меня переложили на нечто вроде горного трактора. Пока мы медленно двигались вниз — сначала сквозь лес, а потом мимо садов и ферм, — крестьяне тихо пели, передавая друг другу фляжку с аквавитом. Один из них дал мне покурить трубку. Я вернулся — слава Богу — в славный мир людей.

II. Пациент

Что остается от огромного размаха и масштаба человека, когда он съеживается и сокращается до горсти праха?., Ложе больного сходно с могилой, Здесь голова лежит так же низко, как ноги, — жалкая и нечеловеческая поза, хотя и общая для всех людей!.. Я не могу подняться с постели, пока мне не поможет врач, не могу я и решить, что могу подняться, пока он мне этого не скажет. Я ничего с собой не делаю, я ничего о себе не знаю.

Джон Донн

«И так, я был спасен — и это конец всей истории». Я пережил то, что считал своим последним днем на земле, со всеми страстями и мыслями, сопутствующими этому, и теперь — к моему невероятному удивлению и радости — я обнаружил, что вернулся к жизни, хоть и с по- дурацки сломанной ногой. С этого момента до...

— ну, до какого момента, вы еще узнаете, — настроения, которое определяло напряжение и связь последующих дней, не стало. Таким образом, писать о них трудно, трудно даже живо их вспомнить. Я обнаружил это еще на Горе, как только достиг уверенности в надежности своего спасения — своего рода изнеможение и отсутствие эмоций, потому что во всеобъемлющих и страстных чувствах больше не было нужды, они больше не соответствовали моему изменившемуся и, так сказать, прозаическому положению, столь отличному от трагедии, комедии и поэзии, рожденных Горой. Я вернулся к прозе, к повседневности и — да — к мелочности мира.

И все же закончить свою историю на этом я не могу, потому что была еще одна история или, может быть, другой акт той же странной сложной драмы, что я в то время нашел совершенно удивительным и неожиданным, почти выходящим за пределы моего понимания. Некоторое время я думал о них как о двух отдельных историях и только постепенно стал видеть, что они по сути связаны. Однако в смысле чувств четыре следующих дня были несколько скучными, хотя и включали серьезную и

чрезвычайно важную операцию, которая и соединяет две истории; я могу вспомнить только некоторые моменты возбуждения и уныния, выделяющиеся из общей бесцветности того времени.

Меня отнесли к местному врачу — краснолицему уроженцу здешних мест, практика которого охватывала сотню квадратных миль горной местности и берега фьорда и который быстро и решительно, тем не менее тщательно, меня обследовал.

— Вы оторвали четырехглавую мышцу, — сказал он. — Не знаю, какие еще есть повреждения. Вас придется отправить в больницу.

Он вызвал машину «скорой помощи» и сообщил обо мне в ближайшую больницу, примерно в шестидесяти милях от деревни, в Одде.

Вскоре после того как меня поместили в маленькую палату в Одде — там была сельская больница, рассчитанная всего на дюжину коек, с простым оборудованием, необходимым для удовлетворения потребностей общины, — ко мне пришла сестра, прелестная, несмотря на неуклюжесть движений, девушка. Я спросил, как ее зовут.

Сестра Сольвейг, — ответила она сурово.

— Сольвейг? — воскликнул я. — Это наводит на мысль о Пер Гюнте.

— Называйте меня, пожалуйста, сестра Сольвейг. Мое имя не имеет значения. А теперь, будьте добры, перевернитесь на живот. Я должна измерить температуру ректально.

— Сестра Сольвейг, — сказал я, — нельзя ли поместить термометр мне в рот? Я испытываю сильную боль, и мое проклятое колено будет недовольно, если я попробую перевернуться.

— Ничем не могу помочь, — ответила она холодно. — Существуют правила, и я должна их выполнять. Так положено в нашей больнице — при поступлении температура измеряется ректально.

Я хотел было заспорить, умолять, протестовать, но выражение лица сестры показало мне, что это будет бесполезно. Я покорно перевернулся, и моя левая нога, лишившись поддержки, свесилась с кровати и мучительно согнулась в колене.

Сестра Сольвейг вставила термометр и исчезла — исчезла (я заметил по часам) больше чем на двадцать минут. Не откликалась она и на звонки и не вернулась до тех пор, пока я не поднял шум.

— Стыдитесь! - бросила она мне, побагровев от гнева.

Мой сосед по палате, молодой человек, задыхавшийся от тяжелого асбестоза[8], хорошо говоривший по-английски,

прошептал:

— Эта сестра — страх божий. Но остальные очень милые.

После того как моя температура была измерена, меня отвезли на рентген.

Все шло хорошо до тех пор, пока лаборантка, не подумав, подняла мою ногу за щиколотку. Колено выгнулось назад, чашечка тут же сместилась, и я невольно завопил. Поняв, что случилось, лаборантка поспешно поддержала колено рукой и очень осторожно и мягко опустила его на стол.

— Простите меня, — сказала она, — я не подумала...

— Ничего, — ответил я, — страшного ничего не случилось. Вы сделали это случайно — в отличие от сестры Сольвейг, которая так поступает намеренно.

Я ждал, лежа на каталке, пока врач рассматривала снимки. Она практиковала в Одде и была по- матерински милой женщиной, дежурившей той ночью в отделении экстренной помощи. Кости целы, сказала она мне, а состояния колена рентген не показывает. Ей никогда раньше не приходилось иметь дела с подобным повреждением, но она думала, что все дело в оторванной четырехглавой мышце, хотя точно можно сказать только при операции. Операция предстояла длительная, «но не сложная», тут же добавила она с улыбкой, заметив мой нескрываемый испуг. Возможно, мне предстоит провести в постели месяца три. «Может быть, и меньше, но вы должны быть готовы и к такому». Разумнее всего мне было бы добраться до Лондона, сказала она. «Красный Крест» может организовать перевозку до Бергена — дорога туда замечательно красивая, если есть настроение любоваться, — а из Бергена в Лондон множество авиарейсов.

Я позвонил своему брату — лондонскому врачу. Он заволновался, но я поспешно постарался его успокоить. Он сказал, что все организует, и велел мне не тревожиться.

Однако не тревожиться не удавалось, и, лежа на больничной койке в Одде, куда меня вернули после осмотра, между задыхающимся и кашляющим молодым человеком и несчастным умирающим стариком, я чувствовал себя ужасно испуганным. Я пытался уснуть — мне дали успокоительное, — но трудно было отвлечься от ноги, особенно учитывая, что малейшее движение вызывало внезапную острую боль в колене. Мне приходилось оставаться почти неподвижным, что не способствовало сну.

Как только я начинал засыпать и, расслабившись, нечаянно шевелился, меня резко будила неожиданная сильная боль в колене. Пришлось проконсультироваться с милой докторшей, и она посоветовала временно наложить гипс, чтобы сделать колено

неподвижным.

Когда я снова оказался в постели со своим новым гипсом, я немедленно уснул с очками на носу, — они были там, когда в шесть утра я проснулся: мне приснилось, что вся моя нога сжимается тисками. Я обнаружил, что нога и в самом деле стиснута, хоть и не тисками. Она ужасно распухла — та ее часть, которую я мог видеть, напомнила мне мякоть растения — и была явно пережата гипсом. Ступня очень воспалилась и похолодела от недостатка кровоснабжения.

Гипс взрезали по всей длине с одной стороны, и, почувствовав облегчение давления и боли, я тут же уснул снова и крепко спал до того момента, когда в палату кто-то вошел. Я сначала протер глаза, решив, что все еще вижу сон. Молодой человек, почему-то одетый в белый халат, изящно танцуя, скользнул в палату, проскакал по комнате и остановился передо мной, сгибая и вскидывая ноги, как балетный танцор. Неожиданно, к моему изумлению, он вскочил на мой прикроватный столик и улыбнулся мне дразнящей улыбкой эльфа. Соскочив вниз, он взял меня за руки и молча приложил мои ладони к своим бедрам. Там я ощутил с каждого бока аккуратный шрам.

— Чувствуете, да? — спросил он. — Я тоже пострадал. Обе ноги. Катался на лыжах. — И он совершил еще одно па в стиле Нижинского.

Из всех врачей, кого я когда-либо видел, об этом норвежском хирурге я сохранил самое живое и приятное воспоминание, потому что он собственной персоной олицетворял здоровье, мужество, юмор — и поразительную активную эмпатию по отношению к пациентам. Он не вещал, как учебник. Он вообще мало говорил — он действовал. Он прыгал и танцевал, он показал мне свои шрамы, одновременно продемонстрировав свое полное выздоровление. Его посещение придало мне бодрости.

Поездка в Берген — шесть часов в карете «скорой помощи» по горным дорогам — была более чем восхитительна. Это напоминало воскресение. Лежа на высокой каталке в кузове, я наслаждался миром, который едва не потерял. Никогда еще он не казался мне таким прекрасным, таким новым.

Погрузка в самолет в Бергене изрядно потрепала мне нервы. Самолет не был оборудован для того, чтобы в него можно было вкатить каталку, так что меня пришлось поднимать по трапу и укладывать наискосок на двух креслах первого класса. В первый раз я почувствовал себя капризным и раздражительным, полным недовольного нетерпения, которое мне с трудом удавалось контролировать.

Командир экипажа, большой крепкий мужчина, похожий на старинного пирата, был доброжелателен и практичен.

— Не стоит дергаться, сынок, — сказал он, кладя мне на плечо свою огромную лапищу. — Первым делом, став пациентом, нужно научиться терпению.

Пока меня везли в карете «скорой помощи» из лондонского аэропорта в большую больницу, где меня на следующий день должны были оперировать, хорошее настроение и здравомыслие начали покидать меня, а на их место пришли ужас и страх. Я не могу сказать, что это был страх смерти, хотя, несомненно, он тоже был составной частью моих ощущений. Скорее я испытывал ужас перед чем-то темным, безымянным и тайным — кошмар сверхъестественный и зловещий, какого я вовсе не испытывал на Горе. Тогда я в целом смотрел в лицо ожидающим меня опасностям; теперь же я чувствовал, что во мне растет и захватывает меня искаженная реальность, и бороться с этим я был бессилен. Она не хотела уходить, и все, что мне оставалось, — стараться не сдавать позиций и держаться, бормоча сквозь зубы обнадеживающие доводы здравого смысла. Поездка в карете «скорой помощи» была плохим путешествием во всех отношениях — помимо страха (побороть который я не мог, потому что сам же его и порождал), у меня временами возникали галлюцинации, те самые, которые я так хорошо помнил с детства, когда у меня начиналась лихорадка или мигрень.

Брат, ехавший со мной, заметил мое состояние и сказал:

— Полегче, Олли, не так уж это будет тяжело. Только ты и в самом деле бледен как смерть, покрыт потом и не в себе. Думаю, у тебя температура — результат интоксикации и шока. Постарайся не напрягаться и сохраняй спокойствие. Ничего ужасного с тобой не случится.

Да, у меня действительно поднялась температура. Я чувствовал жар и озноб одновременно. Меня преследовали навязчивые страхи. Казалось, предметы меняются — теряют реальность и становятся, как говорил Рильке, «вещами, состоящими из страха». Больница, вполне прозаическое викторианское здание, на мгновение представилась мне лондонским Тауэром. Каталка, на которой меня везли, показалась мне самосвальной тележкой, а маленькая комнатка с загороженным окном (ее нашли для меня в последнюю минуту, потому что все палаты были заняты), куда меня поместили, навела меня на мысль о знаменитой камере пыток в Тауэре. Позднее я стал испытывать большую симпатию к моей маленькой, похожей на материнское чрево комнатке; из-за отсутствия окон я окрестил ее монадой. Однако тем жутким зловещим вечером

двадцать пятого, страдая от лихорадки и невроза, дрожа от тайного страха, я видел только плохое и ничего не мог с этим поделать.

— Экзекуция завтра, — сказал администратор в приемном покое. Я знал, что он имеет в виду «операция завтра», но ожидание экзекуции вытеснило смысл его слов. И если моя комнатка была камерой пыток, то она была также и камерой осужденного. Я мысленно видел с галлюцинаторной яркостью надпись, сделанную Фейгином на стене его камеры. Юмор висельника поддержал меня и помог пройти через все гротескные особенности приемного покоя (только когда меня отвезли в палату, стала проявляться человечность). Мои панические настроения усугубила процедура госпитализации с ее систематическим обезличиванием, сопровождающим превращение в пациента. Собственная одежда заменяется одинаковым для всех белым балахоном, на запястье крепится идентификационный браслет с номером. Пациент должен подчиняться правилам учреждения. Он больше не свободен, не имеет больше прав — не принадлежит миру в целом. Это в точности аналогично превращению в узника и напоминает о первых унизительных днях в школе. Вы больше не личность, а заключенный. Вы понимаете, что это — проявление заботы, но все равно испытываете отвращение. Так и я испытывал это отвращение, это чувство деградации на протяжении всех формальностей госпитализации, пока неожиданно и чудесно не проявилась человечность — в тот первый восхитительный момент, когда ко мне стали обращаться как к человеку, а не просто объекту.

Неожиданно в мою камеру осужденного ворвалась славная веселая медицинская сестра, добродушная женщина, с ланкаширским акцентом сообщившая мне, что «смеялась до смерти», когда, распаковывая мой рюкзак, обнаружила пять десятков книг и почти полное отсутствие одежды.

— Ох, доктор Сакс, вы чокнутый! — сказала она, заливаясь смехом.

И тут я засмеялся тоже. Этот здоровый смех разрядил напряжение, и все дьяволы исчезли.

Как только я устроился, меня посетили хирург-стажер, живущий при больнице, и врач. Возникли некоторые трудности в заполнении истории болезни, потому что они хотели знать «основные факты», а я порывался рассказать им всю историю целиком. Кроме того, я не был вполне уверен в том, что в данных обстоятельствах — «основной факт», а что — нет.

Они осмотрели меня, насколько это было возможно при

наложенном гипсе. По-видимому, имел место всего лишь разрыв связок четырехглавой мышцы, сказали они, но полное обследование можно будет сделать только под общим наркозом.

— Почему общим? — спросил я. — Разве нельзя ограничиться спинальным?

Я хорошо понимал, к чему идет дело. «Нет»,

— сказали они и добавили, что в таких случаях общий наркоз — правило, и к тому же (тут они улыбнулись) хирургам едва ли захочется, чтобы я на протяжении всей операции разговаривал или задавал вопросы.

Я хотел продолжать спорить, но что-то в их тоне и манерах заставило меня покориться. Я чувствовал себя беспомощным, как и с сестрой Сольвейг в Одде, и думал: «Так вот что значит быть пациентом? Что ж, я пятнадцать лет был врачом, — теперь увижу, каково быть пациентом».

Я был слишком возбужден во время осмотра, и когда успокоился, подумал, что посетившие меня врачи вовсе не хотели быть несгибаемыми или высокомерными. Они были достаточно приятными, хотя и несколько безразличными; к тому же они наверняка ничего тут не решали. Нужно будет утром задать вопросы моему хирургу. Мне сказали, что операция назначена на 9.30 и что хирург — мистер Свен — сначала зайдет ко мне поговорить.

«Проклятие! — подумал я. — Ненавижу перспективу общего наркоза, потери сознания и неспособности контролировать происходящее». К тому же — и это было гораздо важнее — вся моя жизнь была направлена на осознание и наблюдение, — так неужели теперь мне откажут в возможности наблюдать?

Я обзвонил членов своей семьи и друзей, сообщив, что со мной случилось, предупредил, что если в силу невезения я скончаюсь на столе, я завещаю им выбрать подходящие отрывки из моих записных книжек и из других неопубликованных работ и опубликовать их.

После этого я решил, что нужно придать моему волеизъявлению более формальный вид, так что записал все по возможности юридическим языком, поставил дату и попросил двух сестер заверить мою подпись. Решив, что я «обо всем позаботился»

— или по крайней мере сделал все, что было в моей власти, — я с легкостью уснул и крепко спал до начала шестого, когда проснулся с сухостью во рту, ощущением легкой лихорадки и болезненной пульсацией в колене. Я попросил воды, но мне ответили, что перед операцией ничего ни есть, ни пить нельзя.

Я с нетерпением ждал прихода Свена. Шесть часов, семь,

восемь...

— Придет ли он? — спросил я сестру, суровую женщину в строгом синем платье (веселая сестричка накануне была в полосатой форме).

— Мистер Свен придет, когда ему удобно,

— раздраженно ответила она.

В 8.30 сестра пришла, чтобы сделать мне укол. Я сказал ей, что мне нужно поговорить с хирургом насчет спинального наркоза.

— Нет проблем, — ответила она; инъекции одни и те же и перед общим, и перед спинальным наркозом.

Я хотел сказать, что от лекарства могу одуреть и буду не в состоянии ясно мыслить, когда придет мистер Свен. Сестра ответила, чтобы я не беспокоился: он придет вот-вот, лекарство еще не успеет подействовать. Я смирился и согласился на укол.

Очень скоро я ощутил сухость во рту, появились фосфены — светящиеся пятна перед глазами — и чувство глуповатой сонливости. Я позвонил, вызывая сестру; было 8.45 — я не сводил глаз с часов с момента укола — и спросил, что было мне введено.

Как обычно, ответила она: фенерган и гиосцин, которые применяются для создания полусна. Я внутренне застонал — я же потеряю решимость, укрощенный препаратами...

Мистер Свен явился в 8.53, когда я все еще смотрел на часы. Он произвел на меня сначала впечатление застенчивого человека, но оно тотчас же развеялось от его отрывистого, решительного голоса.

— Ну! — сказал он громко. — Как мы сегодня поживаем?

— Я держусь, — ответил я и услышал, как нечетко звучит мой голос.

— Не о чем тревожиться, — продолжал он оживленно. — У вас порвана связка. Мы ее соединим. Восстановим подвижность колена. Вот и все... Ничего серьезного.

— Но... — медленно пробормотал я, однако он уже покинул палату.

С огромным усилием, потому что я чувствовал себя усыпленным и каким-то ленивым от лекарств, я позвонил и вызвал сестру.

— В чем дело? — спросила она. — Зачем вы меня вызвали?

— Мистер Свен, — пробормотал я, стараясь выговаривать слова отчетливо, — он не задержался — вошел и вышел. Кажется, он очень торопился.

— Ну, знаете ли, — фыркнула сестра, — он очень занятой человек. Вам повезло, что он вообще к вам зашел.

Последним воспоминанием, прежде чем я потерял сознание,

была просьба анестезиолога считать вслух, пока он будет вводить пентотал IV. Я со странным бесчувствием наблюдал, как он ввел иглу в вену, набрал в шприц немного крови, чтобы проверить попадание, и медленно вколол препарат. Я не заметил ничего — реакции не было никакой. Когда я досчитал до девяти, что-то заставило меня посмотреть на часы. Я хотел поймать последний момент сознания и, может быть, усилием воли сознание сохранить. Взглянув на циферблат, я заметил какую-то неполадку.

— Вторая стрелка, — сказал я с пьяной отчетливостью. — Она и правда остановилась или это иллюзия?

Анестезиолог поднял глаза и ответил:

— Да, остановилась. Должно быть, застряла.

На этом я отключился, потому что больше ничего не помню.

Мое следующее воспоминание, или первое воспоминание после пробуждения, едва ли заслуживает названия «следующее». Я лежал в постели и смутно ощущал, что кто-то трясет меня и называет по имени. Я открыл глаза и увидел, что надо мной наклонился хирург- стажер.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Как я себя чувствую? — ответил я голосом таким хриплым и искаженным, что едва его узнал. — Я скажу вам, как я себя чувствую! Я чувствую себя дьявольски паршиво! Что, черт возьми, происходит? Несколько минут назад мое колено чувствовало себя прекрасно, а теперь оно как на сковородке в аду!

— Это не было несколько минут назад, доктор Сакс, — ответил он. — Прошло семь часов. Вы перенесли операцию, знаете ли.

— Боже мой! — воскликнул я пораженно.

Мне не приходило в голову, что меня могли прооперировать. У меня совершенно не было чувства «после» или «между» — чувства, что время прошло или что-то произошло.

— Ну и ну, — сказал я, приходя в себя. — И как она прошла?

— Прекрасно, — любезно сообщил он. — Никаких проблем.

— А колено? — продолжал я. — Его полностью обследовали?

Мне показалось, что хирург-стажер на мгновение заколебался.

— Не беспокойтесь, — сказал он наконец.

— С коленом все будет хорошо. Мы его не вскрывали. Мы сочли, что с ним все в порядке.

Меня не особенно обнадежили его слова или тот тон, каким он их произнес, и прежде чем я снова уснул, я в ужасе подумал: «Они могли пропустить какое-то важное повреждение, может быть, я попал не в такие уж надежные руки...»

Помимо разговора с хирургом-стажером, который я запомнил в точности и потом записал практически дословно, у меня почти не сохранилось связных воспоминаний о следующих за операцией 48 часах. Я страдал от лихорадки, шока и интоксикации, колено сильно болело. Каждые три часа мне давали морфин. Временами я бредил, о чем не помню ничего. Я чувствовал себя ужасно больным и испытывал сильную жажду, но мне было разрешено получать только по нескольку капель воды. Я не мог мочиться, и мне пришлось ввести катетер.

Я действительно пришел в себя только к вечеру пятницы, через два дня после операции. Эти два дня были фактически для меня потеряны, в смысле связного и последовательного восприятия событий. Я ожил довольно неожиданно, лихорадка и бред исчезли, а боль настолько ослабела, что можно было отказаться от инъекций, и катетер — да, катетер, это проклятие! — был вынут; теперь я мог наслаждаться возможностью мочиться свободно. Я чувствовал удивительную бодрость тела и духа, что может выглядеть странно для человека, только что перенесшего довольно серьезную операцию, шок от повреждения конечности и вдобавок к этому — лихорадку и бред, но так оно и было. Как говорится, я прыгнул обратно в жизнь, ободренный и возрожденный.

Свежий ветерок дул в окно — легкий вечерний бриз, — донося голоса птиц и церковный звон. Я с наслаждением глубоко втянул воздух и пробормотал молитву благодарности за свое быстрое — и такое приятное — выздоровление. Поблагодарив Бога, я поблагодарил и хирурга, и весь персонал больницы за то, что они вытащили меня из неприятностей, а также добрый народ Норвегии за то, что меня спасли.

Девяносто шесть часов назад, размышлял я, я полз в сумерках по холодным горам в Норвегии, во власти темноты, под угрозой смерти. Благодарение Богу за то, что я вернулся в страну живых!

Я с наслаждением потянулся, и это действие напомнило мне о том, что нога у меня в гипсе. Да вон он — виден его краешек на верхней части бедра, а ниже гипса — моя нога, розовая и живая, пусть немного опухшая. Было так замечательно думать о том, что ее целостность восстановлена, связки сшиты, все в должном порядке. Все было хорошо, и все будет хорошо. Потребуется время, конечно. Наверное, около месяца мне предстоит провести в больнице, а потом еще месяца два уйдет на выздоровление. Мышцы под гипсом несколько атрофируются я часто видел, как быстро четырехглавые мышцы теряют тонус при постельном режиме и отсутствии тренировки, так что я не мог ожидать немедленного полного восстановления сил и возможности

пользоваться ногой... Все это я понимал и принимал — принимал с радостью. Это была невысокая цена за спасение от смерти или инвалидность. Главное, несомненно, было в том, что я чудесным образом выжил, что мое увечье исцелил превосходный хирург, что тщательный поиск во время операции не выявил других повреждений, кроме порванных связок, а выздоровление ожидалось быстрым, без осложнений какого-либо рода. Будет так приятно снова напрягать мускулы, снова ощутить силу и власть над телом, которые так пугающе исчезли, когда связки были порваны. Теперь, когда они были восстановлены, я заставлю мышцы действовать и верну им подвижность так быстро, как только смогу. Я хорошо знал, как наращивать мышцы и силы — у меня сохранился опыт еще с тех дней, когда я поднимал тяжести. Я всех удивлю, я покажу, на что способен! Улыбаясь от предвкушения, я напряг четырехглавую мышцу — но почему-то ничего, абсолютно ничего не произошло. По крайней мере я ничего не почувствовал — правда, на мышцу я не смотрел. Может быть, сокращение было совсем незначительным... Я попробовал снова — на этот раз напряг мышцу сильно, внимательно следя за тем, что было видно поверх гипса. Опять ничего — совершенно никакого движения, ни малейших признаков сокращения мышцы. Мускулы были неподвижны и инертны, моей воле не подчинялись. Я с дрожью протянул руку, чтобы пощупать мышцу. Она была ужасно истощенной, и гипс (который, вероятно, был наложен снова после операции) теперь позволял мне просунуть под него весь кулак.

Некоторой атрофии вследствие бездействия мышцы по крайней мере следовало ожидать. Чего я не ожидал и что показалось мне крайне странным и смущающим, была полная вялость мышцы — совершенно ужасная и неестественная, которая никак не могла быть просто следствием бездеятельности. Она почти не производила впечатления мышцы вообще — больше походила на какое-то безжизненное желе или сыр. Она совсем не была упругой, не имела тонуса нормальной мышцы, была не просто дряблой, а совершенно атонической.

Я содрогнулся от ужаса, но заставил себя поспешно сосредоточиться на более приятных вещах. Это было сделать очень легко. Несомненно, окажется, что я допустил какую-то глупую ошибку — вроде того как вставляешь ключ в замочную скважину вверх ногами — и утром обнаружится, что все работает нормально.

Скоро должны были прийти мой отец и старые друзья — я попросил персонал известить их о том, что я в сознании и «принимаю». А что касается всей этой чепухи с ногой — ну, она и

есть чепуха. Утром придет физиотерапевт, и мы проделаем все процедуры.

Я чудесно провел вечер — это было просто торжество. Было так приятно увидеться со старыми друзьями, теми друзьями, о которых я грезил, когда, как я считал, умирал на Горе. Это был чудесный, счастливый, жизнерадостный вечер; к возмущению и удовольствию ночного дежурного, мы распили бутылку шампанского. Мои друзья тоже приободрились, потому что вечером в воскресенье я отказался с ними видеться, а в телефонном разговоре попросил быть моими душеприказчиками, «если что-нибудь случится». Что ж, ничего не случилось — и жизнь била во мне ключом. Я был жив, и они были живы. Мы все были живы, и были современниками, и жили рядом, и были спутниками в путешествии по жизни. Тем вечером, двадцать восьмого, среди улыбок и смеха друзей (и иногда слез) я почувствовал как никогда раньше, что значит праздничное настроение, — я не просто был жив, но разделял жизнь друзей, был жив с ними вместе. Я решил, что мое одиночество на Горе было в определенном смысле почти более печальным, чем смерть.

Это был такой замечательный вечер, такой радостный, что нам не хотелось расходиться.

— Как долго ты думаешь пробыть в этом заведении?

— Ни минутой дольше, чем необходимо, — как только смогу ходить. Через пару недель я должен уже вовсю бегать.

Я остался лежать в сиянии добрых чувств и дружелюбия, когда они ушли, а затем через несколько минут погрузился в сон.

Однако не все было в порядке. Действительно, у меня был момент беспокойства насчет ноги, но мне удалось, как мне казалось — успешно, отбросить сомнение как нечто «глупое». Оно вовсе не омрачало моего настроения на протяжении веселого вечера. Казалось, я забыл о нем, забыл полностью, однако в глубине души продолжал помнить.

Этой ночью, когда я погрузился в глубины сна (или глубины прорвались и затопили меня), мне приснился кошмар, особенно страшный из-за того, что казался таким реалистичным, не похожим на сновидение. Я снова был на Горе, безуспешно пытаясь пошевелить ногой и встать. Однако — и это по крайней мере было типичным для сновидения смешением — произошла странная путаница между прошлым и настоящим. Я только что упал — и все же нога моя уже была зашита: я мог видеть ряд мелких аккуратных стежков. «Прекрасно, — подумал я, — целостность восстановлена. Сюда прислали вертолет, и меня зашили на месте. Связки восстановлены, я готов идти!» Однако нога почему-то ничуть не слушалась меня, несмотря на то что

была так прекрасно и аккуратно зашита. Она не двигалась, не пошевелилось ни единое мышечное волокно, когда я попробовал воспользоваться ногой и встать. Я опустил руку и пощупал мышцы — они были мягкими и вялыми, лишенными тонуса или жизни. «Боже мой! — воскликнул я во сне. —- Что-то не в порядке, совершенно явно не в порядке. Мышцы лишились иннервации, дело не только в связках». Как я ни напрягался, все было бесполезно. Нога лежала неподвижно, она была инертна, словно мертвая.

Я проснулся в ужасе, обливаясь потом и на самом деле пытаясь напрячь вялую мышцу, как, вероятно, делал в сновидении. Однако все было бесполезно, мышца не работала — как и во сне. «Дело в шампанском, — сказал я себе.

— Ты бредишь, ты перевозбужден. А может быть, ты еще не проснулся и тебе снится сон во сне. Нужен крепкий освежающий сон, и утром ты обнаружишь, что все в порядке».

Я и уснул, но снова оказался в призрачной стране. Я был на речном берегу, заросшем огромными пышными деревьями, тени которых пятнами ложились на чуть колышущуюся воду. Тишина была полной, почти осязаемой на ощупь; казалось, она окутывает меня, как мантия. У меня с собой были бинокль и фотоаппарат. Я собирался сфотографировать необыкновенную новую рыбу — совершенно замечательную, как говорили, хотя видели ее лишь немногие. Как я понял, она называлась химера. Я терпеливо ждал у ее норки, потом засвистел, хлопнул в ладоши и бросил в воду камень, чтобы попытаться разбудить ленивое создание.

Внезапно я заметил движение в воде, исходившее, казалось, из невообразимых глубин. Вода словно засасывалась в середину воронки, булькая, оставляя широкое пустое пространство. Согласно мифу, химера могла одним глотком выпить всю реку, и в этот момент мое любопытство сменилось ужасом, потому что я понял, что миф верен дословно. Химера поднималась из пучины во всем своем великолепии — молочно-белая, морщинистая, как Моби Дик, но в отличие от него — невероятно! рогатая и с широкой мордой жвачного животного.

Теперь эта тварь посмотрела на меня — посмотрела огромными выпуклыми глазами, похожими на глаза быка; только это был бык, который мог втянуть в пасть всю реку, и вооруженный чешуйчатым хвостом размером с кедр.

Когда химера повернулась ко мне мордой и обратила на меня свои огромные глаза, меня охватила ужасная дикая паника, и я отчаянно попытался отпрыгнуть назад, на безопасное расстояние, вверх по речному берегу. Но мне это не удалось. Движение получилось совершенно неправильным, и вместо того чтобы

отбросить меня назад, с силой кинуло вперед, под копыта, которые, как я теперь увидел, имела эта рыба...

Сила неожиданного движения разбудила меня, и я обнаружил, что сильно, до предела напряг во сне подколенные сухожилия. Правую пятку я подтянул к ягодице, а левая уперлась в край гипса. Стояло ясное солнечное утро. Это я мог видеть, не говоря уже о том, что ощущал ветерок, до меня долетали звуки и запахи, пусть лишь как видение и намек: строительные леса были возведены не более чем в футе от окна. Итак, ясное утро четверга — я услышал, как по коридору везут тележку с чайными принадлежностями, уловил запах намазанного маслом тоста. Неожиданно я почувствовал себя великолепно — это было настоящее утро жизни! Я втянул благоуханный воздух и позабыл свои мерзкие сновидения.

— Чай или кофе, доктор Сакс? спросила меня маленькая сестра-яванка. (Я мельком заметил ее в то отвратительное утро, когда меня везли на операцию.)

— Чай, — ответил я. — Целый чайник! И овсянку, яйцо всмятку и намасленный тост с мармеладом!

Она изумленно раскрыла свои милые раскосые глаза.

— Ну, вам сегодня явно лучше! — сказала она. — Последние два дня вы не хотели ничего, кроме глотка воды. Я очень за вас рада — теперь вы снова хорошо себя чувствуете.

Да, я тоже был рад. Я чувствовал себя хорошо и радовался вернувшейся бодрости, желанию делать упражнения и двигаться. Я всегда был активен — ведь активность жизненно важна. Я обожал любые движения, особенно быстрые движения тела; мысль о том, чтобы неподвижно лежать в постели, была мне ненавистна.

Я заметил перекладину, что-то вроде трапеции, висящую над кроватью. Я потянулся к ней, крепко ухватился и двадцать раз подтянулся. Замечательное движение, замечательные мускулы — их действие приносило мне радость. Я отдохнул и стал подтягиваться снова — теперь тридцать раз; потом, откинувшись на подушку, можно было насладиться приятным ощущением усталости.

Да, я снова был в хорошей форме, несмотря на несчастный случай, операцию и повреждение тканей. Было чертовски приятно сделать пятьдесят подтягиваний, учитывая, что всего пятнадцать часов назад я страдал от шока и бредил. Это принесло мне не только радость, но и уверенность — уверенность в силе моего тела, его выносливости, его воле к выздоровлению.

После завтрака, как мне сказали, придет физиотерапевт. Она, по общему мнению, была первоклассным специалистом, и мы с

ней начнем работать — восстановим тонус мышц, чтобы они были «на плаву», заставим работать вместе со всем организмом. Я в определенном смысле почувствовал себя кораблем, сказав себе «на плаву», — живым кораблем, кораблем жизни. Я ощущал свое тело как корабль, на котором я путешествовал по жизни; у него были надежные борта, а ловкие матросы согласованно действовали вместе под командой капитана — меня самого.

Вскоре после девяти физиотерапевт пришла; это была крепкая, похожая на игрока в хоккей женщина с ланкаширским акцентом. Ее сопровождала ассистентка или студентка — кореянка со скромно потупленными глазами.

— Доктор Сакс? — рявкнула физиотерапевт голосом, который был бы слышен на всем стадионе.

— Мадам... — тихо ответил я, склоняя голову.

— Рада познакомиться, — сказала она чуть менее громко, протягивая мне руку.

— Я тоже рад, — ответил я менее тихо, пожимая ее руку.

— Как там ваша нога? Что чувствуете? Небось болит дьявольски, верно?

— Нет, теперь уже особенно не болит — только иногда. Но ощущается довольно странно — не действует как полагается.

— М-м... — хмыкнула она, задумавшись. — Что ж, давайте посмотрим и начнем работать.

Она откинула простыню с моей ноги, и в этот момент я заметил у нее на лице выражение внезапного изумления. Оно тут же сменилось серьезным трезвым выражением профессиональной озабоченности. Врач вдруг словно стала менее живой и несколько подавленной. Достав сантиметровую ленту, она измерила бедро, а также для сравнения здоровую ногу. Результату она, казалось, не поверила и повторила измерение, кинув при этом быстрый взгляд на молчаливую кореянку.

— Да, доктор Сакс, — сказала она наконец,

— изрядная у вас убыль — четырехглавая мышца уменьшилась на семь дюймов, знаете ли.

— Звучит устрашающе, — ответил я, — но ведь, кажется, она очень быстро атрофируется от неупотребления.

Слово «неупотребление» вроде бы принесло ей облегчение.

— Да, неупотребление, — пробормотала она скорее себе, чем мне. — Не сомневаюсь, все объясняется именно неупотреблением.

Врач положила руку мне на бедро и пощупала мускулы, и опять мне показалось, что на ее лице промелькнуло выражение изумления и беспокойства и даже нескрываемого отвращения, как бывает, когда неожиданно касаешься чего-то мягкого и извивающегося. При виде этого, хотя взгляд врача тут же стал

профессионально вдумчивым, все мои собственные страхи, до того подавлявшиеся, вернулись с удвоенной силой.

— Ладно! — рявкнула физиотерапевт прежним слишком громким и бодрым голосом.

— Ладно! Хватит щупать, измерять и разговаривать — давайте что-нибудь сделаем!

— Что? — спросил я тихо.

— Сократите мышцу, а вы что думали? Я хочу, чтобы вы напрягли четырехглавую мышцу на этой ноге — мне не нужно говорить вам, как это делается. Просто напрягите мускулы. Заставьте мышцу затвердеть — там, где лежит моя рука. Ну же, вы совсем не стараетесь! А теперь с другой стороны.

Я тут же сильно напряг четырехглавую мышцу на правой ноге. Однако когда я пытался сделать то же с левой, не было ни следа напряжения, ни следа затвердения. Я снова и снова пытался это сделать — без всякого результата.

— Похоже, у меня не очень-то получается, сказал я жалобно.

— Не теряйте мужества! — проорала физиотерапевт. — Существует множество способов... Очень многие испытывают затруднения при напряжении — изометрическом сокращении мускулов. Нужно думать о движении, а не о мышце. В конце концов, люди двигаются, совершают разные действия, а не просто напрягают мускулы. Вот тут ваша коленная чашечка — прямо под гипсом. — Она постучала по гипсу сильными пальцами, и раздался странный неживой звук. — Ну, просто подтяните ее к себе. Подтяните вверх коленную чашечку — это нетрудно, раз связки восстановлены.

Я потянул. Ничего не произошло. Я тянул снова и снова. Я тянул до тех пор, пока не стал пыхтеть от усилий. Ничего, совсем ничего не происходило — ни малейшего намека на движение. Мускулы были неподвижны, как спущенный шарик.

Физиотерапевт начала выглядеть встревоженной и огорченной и сурово сказала мне своим голосом тренера:

— Вы не стараетесь, Сакс. Вы на самом деле не стараетесь!

— Прошу прощения, — виновато ответил я, вытирая со лба пот. — Я полагал, что прилагаю массу усилий.

— Ну да, — проворчала она. — Похоже, вы вовсю трудились, да только ничего не вышло. Ладно, не нужно беспокоиться, у нас еще есть разные способы! Подтягивание коленной чашечки все-таки в определенной мере действие изометрическое и может быть более трудным потому, что коленной чашечки вы не видите. — Она постучала по непрозрачному гипсу костяшками пальцев, как в дверь.

— Здорово было бы, будь он прозрачным, откликнулся я.

Она решительно покивала.

— А еще лучше, если бы гипсовые повязки вообще не применялись... здоровенные неуклюжие штуки, порождающие множество проблем. Гораздо лучше обездвиживать суставы скобами — только не пытайтесь сказать об этом ортопедам. Они ведь ничего не смыслят в физиотерапии! — Она резко оборвала себя, смутившись. — Я не хотела этого сказать, — пробормотала она голосом, весьма отличавшимся от ее командирских интонаций. — У меня просто вырвалось... Однако... — Она поколебалась, но потом, прочтя на моем лице понимание и одобрение, продолжала: — Я ничего не хочу сказать против ортопедов — они делают нужную работу, только, похоже, совсем не думают о движениях и позах, о том, как вы будете что-то делать после того, как анатомия приведена в порядок.

Я подумал о мимолетном визите Свена перед операцией и о его словах: «У вас порвана связка. Мы ее соединим. Восстановим подвижность колена. Вот и все...» Я почувствовал, что симпатизирую этой милой женщине.

— Мисс Престон, — сказал я, взглянув на ее именную бирку (до этого момента я думал о ней только как о «физиотерапевте»), — вы совершенно правы, и мне хотелось бы, чтобы и другие врачи думали так же. У большинства из них головы в гипсе... — Теперь пришла моя очередь постучать по белому цилиндру, подчеркивая сказанное. — Однако, возвращаясь к моему случаю, что мне теперь делать?

Прошу прощения, — сказала она. — Я отвлеклась. Давайте попробуем еще раз. Все будет очень просто, как только удастся запустить мускулы. Одно малюсенькое сокращение — вот и все, что вам нужно: после первого же подергивания вы пойдете дальше без проблем. Вот что я вам скажу, — голос мисс Престон стал сочувственным и дружеским, — я должна была сегодня заняться с вами только изометрией, но очень важно, чтобы вы добились успеха. Я знаю, как расстраивает, если стараешься, а ничего не выходит. Очень плохо заканчивать занятие с унылым чувством неудачи. Ладно, попробуем активное сокращение — что-то такое, что вы сможете увидеть. Вам нельзя еще поднимать ногу, но я приму весь вес на себя. Я собираюсь осторожно и нежно поднять вашу левую ногу с кровати, а от вас требуется только присоединиться и помочь мне. Мы поможем вам немножко посидеть. — Она кивнула студентке- кореянке, и та подперла меня подушками так, чтобы я мог принять сидячее положение. — Да, это должно прекрасным образом привести в действие сгибательные мышцы бедра. Готовы?

Я кивнул, думая: да, эта женщина все понимает, если кто-

нибудь и может помочь мне привести в действие мышцы, то это именно она. Я приготовился сделать мощное усилие.

— Вам не нужно так напрягаться! — засмеялась мисс Престон. — Вы же не собираетесь побить рекорд по поднятию тяжестей? Все, что вы сейчас будете делать, — это поднимать ногу со мной вместе. Вверх, вверх... Давайте вместе! Еще чуть-чуть! Да, дело пошло...

Однако дело не пошло. Ничего не вышло, совсем ничего. Я видел это по лицу мисс Престон, как и по своей ноге. Она мертвым грузом висела у нее на руках — лишенная всякого тонуса и собственной жизни, как желе, как пудинг, упакованный в гипс. Отражение собственного беспокойства и разочарования я видел на лице мисс Престон, которое утратило маску профессионального безразличия, стало живым и открытым, откровенным и правдивым.

— Мне очень жаль, — сказала она (и я видел, что ей действительно жаль). — Может быть, на этот раз вы не совсем поняли, как надо. Давайте попробуем еще раз.

Мы пытались, и пытались, и пытались... И с каждой неудачей, с каждым поражением я чувствовал все большую тщетность своих усилий, а шансов на успех казалось все меньше.

— Я знаю, как сильно вы старались, — сказала мисс Престон, — а кажется, будто вы не старались вовсе. Вы приложили все усилия, но они ничего не дают.

Это было именно то, что я чувствовал сам. Я чувствовал, как усилия бесполезно расточаются, словно ни на что не направленные. Я чувствовал, что они не имеют на самом деле точки приложения. Старание и желание пропадали впустую, потому что желание — это желание чего-то, а именно это что-то и отсутствовало. В начале занятий мисс Престон сказала: «Я хочу, чтобы вы напрягли четырехглавую мышцу на этой ноге — мне не нужно говорить вам, как это делается». Но дело было как раз в этом «как». Я не мог придумать, как еще больше напрячь четырехглавую мышцу. Я не мог придумать, как мне подтянуть коленную чашечку и как согнуть бедро. У меня возникло ощущение, что, значит, что-то случилось с моей способностью придумывать — хотя только в отношении этой единственной мышцы. Чувствуя, что я «забыл» что-то, что-то совершенно очевидное, абсурдно очевидное, каким-то образом ускользнувшее от моего ума, я попробовал напрячь правую ногу. Тут не встретилось совершенно никаких трудностей. Действительно, мне не пришлось стараться, не пришлось придумывать. Никакого усилия воли не требовалось. Нога повиновалась естественно и легко. Я также попытался — это было последнее предложение

мисс Престон, «фасилитация», как она его назвала, — приподнять обе ноги одновременно в надежде, что возникнет какое-то «переливание», «трансфер» со здоровой стороны. Увы, ничего! Никакой фасилитации ни в малейшей мере...

Через сорок минут мы с мисс Престон оба были вымотаны и расстроены; мы сдались и оставили четырехглавую мышцу в покое. Для нас обоих было облегчением, когда она занялась другими мышцами левой ноги, заставляя меня двигать ступней и пальцами и совершать другие движения бедром — абдукцию, аддукцию, вытягивание и т.д. Все эти мускулы откликались немедленно и работали как надо — в отличие от четырехглавой мышцы, которая не работала совсем.

Занятие с мисс Престон сделало меня еще более задумчивым и мрачным. Странные предчувствия, возвращавшиеся ко мне в сновидениях, и которые я постарался «забыть» накануне, — все это теперь обрушилось на меня с полной силой, больше я не мог их игнорировать. Словечко «ленивая», как мисс Престон назвала мышцу, показалось мне глупым — какой-то бессмысленной кличкой, лишенной ясного содержания. Что-то было не так, ужасно не так, что-то, что не имело прецедентов в моем опыте. Мышца была парализована — так почему называть ее ленивой? Поток импульсов туда и обратно, который в нормальных условиях автоматически поддерживает тонус, полностью отсутствовал. Нервное движение, так сказать, остановилось, улицы этого города были безлюдны и безмолвны. Жизнь — нервная жизнь — замерла, если считать, что термин «замерла» не слишком оптимистичен. Мышцы расслабляются во сне, особенно в глубоком сне, и нервное движение ослабевает, но никогда не останавливается полностью. Мускулы работают днем и ночью, жизненно важная пульсация и циркуляция крошечных импульсов продолжается, и их в любой момент можно пробудить к полной активности.

Даже во время комы мышцы сохраняют некоторую активность. Они работают, хотя и очень медленно. Деятельность мускулов, как и сердца, на протяжении жизни никогда не останавливается. Однако моя четырехглавая мышца, настолько я мог судить, остановилась. Она была полностью лишена тонуса и парализована. Она как бы умерла, а не просто уснула, а значит, ее нельзя было разбудить; ее пришлось бы — какое слово тут можно употребить? — «возбудить», чтобы вернуть к жизни. Бодрствование и сон, возбуждение и смерть...

Именно мертвенность мускулов так меня пугала. Эта мертвенность была чем-то абсолютным, непохожим на усталость или болезнь. Как раз это я почувствовал — и подавил это чувство — накануне вечером: предчувствие того, что мышца мертва. В

первую очередь такое впечатление создавало ее молчание — молчание полное и абсолютное, молчание смерти. Когда я окликал мышцу, ответа не было. Мой голос не был слышен, мышца была глуха. Но только ли в этом было дело? Когда кто-то зовет, он слышит свой зов — даже если на него нет ответа или ухо, к которому он обращен, глухо. Возможно ли — и эта мысль заставила меня вздрогнуть, словно я переместился в другое пространство, пространство неизмеримо более серьезных, даже жутких возможностей, — что то безмолвие, о котором я говорил, то ощущение, что ничего не происходит, означало, что на самом деле я не окликал (или если окликал, то не слышал собственного зова)? Такая мысль — или нечто на нее похожее (предостережение, предвестие?) — наверняка таилась в глубине моего сознания во время занятий с мисс Престон, Это странное «старание», которое не было на самом деле старанием, это «напряжение воли», которое таковым не было, как не было «вспоминанием» вспоминание...

Что со мной творится? Я не мог стараться, я не мог напрягать волю, я не мог сообразить, я не мог вспомнить. Я не мог сообразить или вспомнить, как делать определенные движения, и мои усилия были иллюзорными, смехотворными, потому что я утратил силу окликнуть часть себя. Теперь, когда я стал все более мрачно размышлять, мне казалось, что неприятности коренятся гораздо глубже, чем я мог предположить. Я чувствовал, что передо мной открывается пропасть...

То, что мышца была парализована, что она была глуха, что ее жизненно важный пульсирующий поток, ее «сердце» остановилось, что она была, одним словом, мертва... Все это, тревожное само по себе, бледнело, теряло значимость по сравнению с тем, что теперь открылось мне. Все эти явления, какими бы ужасными они ни были, оставались исключительно местными, периферическими феноменами и как таковые не затрагивали главного во мне — моего «я» — в большей мере, чем потеря листьев или ветки затрагивает течение соков и корни дерева. Самой пугающей, даже зловещей была ясность: это не было чем-то чисто локальным, периферическим, поверхностным — ужасное безмолвие, забвение, неспособность окликнуть или вспомнить были радикальным, центральным, фундаментальным явлением. То, что казалось сначала не более чем локальным, периферическим повреждением, теперь показало себя в ином, совершенно ужасном свете как нарушение памяти, мышления, воли; не просто повреждение мышцы, а повреждение моего «я». Образ меня как живого корабля — крепкого корпуса, умелых матросов, направляющего корабль капитана — теперь приобрел

очертания кошмара. Дело было не в том, что некоторые доски корпуса сгнили или сломались, или что матросы оглохли, стали непослушны, или покинули судно, — я-капитан больше капитаном не был. Мозг меня-капитана явно был поврежден — страдал от серьезных дефектов, опустошения мыслей и памяти. Совершенно неожиданно меня охватил милосердный сон, глубокий почти как обморок.

Меня неожиданно, грубо и пугающе разбудила маленькая сестра-яванка, обычно такая спокойная: она ворвалась ко мне в палату и потрясла меня за плечо. Принеся мне ленч, она заглянула через стеклянную дверь, и увиденное заставило ее уронить поднос и вбежать в палату.

— Доктор Сакс, доктор Сакс, — пронзительно закричала она в панике, — вы только посмотрите, где ваша нога! Еще немного — и она окажется на полу!

— Ерунда, — лениво ответил я, все еще полусонный. — Моя нога здесь, передо мной, где ей и положено быть.

— Нет! — сказала сестра. — Она наполовину свесилась с кровати. Вы, должно быть, двигали ею во сне. Вы только посмотрите!

— Бросьте, — ответил я с улыбкой, даже и не побеспокоившись взглянуть. — Шуточка не удалась.

— Доктор Сакс, я не шучу! Пожалуйста, приподнимитесь и посмотрите сами!

Думая, что она все еще меня разыгрывает (в больницах розыгрыши — дело обычное), я приподнялся. До этого я лежал на спине, но, взглянув, присмотрелся внимательнее. Ноги не было на месте. Это невероятно, невозможно — но ее не было!

Где же она? Я обнаружил белый цилиндр слева, торчащим под странным углом к телу. Действительно, как и говорила сестра, нога более чем наполовину свешивалась с постели. Должно быть, я столкнул ее во сне здоровой ногой, не заметив этого. Внезапно я ощутил полную растерянность. Я чувствовал, что нога лежит передо мной, — или по крайней мере считал, что она там (раньше так и было, и информации об обратном я не получил), — но теперь я видел, что она сместилась и повернулась почти на девяносто градусов. У меня возникло неожиданное чувство полного несоответствия — того, что, как я считал, я чувствовал, тому, что на самом деле видел; того, что я думал, тому, что обнаружилось. На какой-то головокружительный момент мне показалось, что я полностью обманываюсь, испытываю иллюзию — и что за иллюзию! — с какой не сталкивался ни разу в жизни.

— Сестра, — сказал я и заметил, что голос мой дрожит, — не

будете ли вы так добры и не подвинете ли мою ногу обратно? Мне лежа делать это трудно.

— Конечно, доктор Сакс, — и давно пора! Она почти свесилась — а вы ничего не делаете, только разговариваете.

Я ждал, что она переместит ногу, но, к моему удивлению, она ничего не сделала — только наклонилась над кроватью, потом выпрямилась и двинулась к двери.

— Сестра Сулу! — завопил я, и теперь пришла ее очередь вздрогнуть от неожиданности. — В чем дело? Я жду, чтобы вы положили мою ногу на место!

Она обернулась, и ее раскосые глаза широко раскрылись от изумления.

— А теперь вы меня разыгрываете, доктор Сакс! Я же передвинула вашу ногу.

На мгновение я утратил способность говорить; ухватившись за перекладину, я подтянулся и сел... Да, она не шутила, — она передвинула ногу обратно! Она-то передвинула, но я не почувствовал, что она это сделала. Черт возьми, что же это?

— Сестра Сулу, — сказал я очень рассудительно и спокойно, — мне жаль, что я вспылил. Могу я попросить вас об одолжении? Не будете ли вы добры — теперь, когда я сижу и все вижу, — взяться за гипс у колена и повернуть ногу: просто подвигать ее куда захотите.

Я внимательно следил, как она это делала — приподняла ногу, опустила, подвигала из стороны в сторону. Я мог видеть все эти движения, но совершенно их не чувствовал.

— А теперь, пожалуйста, более размашистые движения, сестра Сулу.

Мужественно — нога была тяжелой, трудно перемещаемой и болтающейся — она подняла мою ногу вверх, потом отвела в сторону, так что нога снова оказалась под прямым углом к туловищу. Эти движения я тоже видел, но по- прежнему ничего не чувствовал!

— Еще один короткий завершающий тест, сестра Сулу, если не возражаете. — Мой голос (это я заметил словно издалека) приобрел спокойные, деловые, «научные» интонации, скрывающие мучительный страх перед открывшейся передо мной пропастью.

Я закрыл глаза и попросил сестру снова подвигать ногу — сначала немного, а потом, если я ничего не скажу, размашисто, как и раньше. Ну, сейчас посмотрим! Если вы перемещаете руку человека у него на глазах, ему может быть трудно отличить ощущение движения от того, что он видит. Они так естественно связаны друг с другом, что человеку непривычно их различать.

Однако если вы попросите его закрыть глаза, не возникнет никаких трудностей в оценке малейших пассивных движений — даже на долю миллиметра. Именно это называли мускульным чувством, пока Шеррингтон не исследовал его и не переименовал в проприоцепцию; она зависит от поступающих от мускулов, суставов и связок импульсов, которые обычно остаются неосознанными. Именно благодаря этому жизненно важному шестому чувству тело познает себя и оценивает с совершенной автоматической и мгновенной точностью положение и движения всех своих частей, их соотношение друг с другом, их положение в пространстве. Существовало старинное выражение, все еще часто используемое, — kinaesthesia[9], чувство движения, — однако проприоцепция, более благозвучный термин, представляется гораздо лучшим, потому что предполагает ощущение «должного» —- то, благодаря чему тело знает себя, рассматривает себя как свою собственность. О человеке можно сказать, что он обладает или владеет своим телом, по крайней мере конечностями и подвижными частями, благодаря постоянному потоку информации, поступающей от мускулов, суставов и связок. Человек владеет собой, является собой благодаря тому, что тело знает себя и постоянно подтверждает это знание шестым чувством. Я нередко задумывался о том, что можно было бы избежать абсурдного дуализма философии со времен Декарта благодаря правильному пониманию проприоцепции. Может быть, такое прозрение мелькало у великого Лейбница, когда он говорил о «мельчайших восприятиях», выступающих посредниками между телом и душой...

— Доктор Сакс! — Нетерпеливый голос сестры Сулу прервал мои размышления. — Я уж решила, что вы уснули или еще что-то. Мои бедные руки болят, а вы не издаете не звука. Я тут сверхурочно поработала с вашим тяжелым гипсом. Я двигала его во все стороны до упора. Только не говорите мне, что вы ничего не чувствовали.

— Сестра Сулу, — сказал я серьезно, — я не чувствовал совсем ничего. На самом деле я все ждал, когда же вы начнете.

Сестра Сулу, так добросовестно помогавшая мне, покачала головой и ушла, все еще растерянно и непонимающе качая головой. «Он казался таким славным, таким нормальным, таким разумным, — должно быть, проносилось за ее гладким яванским лбом, — а теперь он ведет себя так странно!» Она встревожилась бы еще больше, если бы видела сквозь стеклянную дверь мои действия, и уж совсем пришла бы в растерянность, догадайся она о том, что я думал и чувствовал. «Странность» она сочла бы слишком слабым выражением. Пожалуй, она и вообще не нашла

бы подходящего слова на собственном, моем или вообще любом языке для описания невероятного характера того, что я испытывал.

Как только она ушла — я сообщил ей, что лишился аппетита и в ленче не нуждаюсь, — я сразу же взялся за свою ногу с острым, изумленным и почти яростным интересом. В тот самый момент я не узнал собственной ноги. Она была полностью чужой, не моей, незнакомой. Я смотрел на нее, совершенно не узнавая. У меня бывали — как бывают у нас всех — неожиданные странные моменты неузнавания, jamais vu[10]; они кажутся сверхъестественными, пока длятся, но проходят очень быстро, и мы возвращаемся в знакомый и привычный мир. Однако сейчас это ощущение не проходило, а становилось глубже и сильнее.

Чем дольше я смотрел на гипсовый цилиндр, тем более чуждым и непонятным он мне казался. Я больше не мог чувствовать ногу как мою, как часть меня. Она словно не имела ко мне никакого отношения. Она была абсолютно «не-я» — и в то же время присоединена ко мне, более того — была моим продолжением.

Должно быть, дело в гипсе, сказал я себе. Такой огромный предмет — он кого хочешь собьет с толку, хотя странно, почему только теперь он стал так сильно меня тревожить. В конце концов, гипс мне наложили в Одде в субботу. Так почему я теперь, в четверг на следующей неделе, нахожу его таким странным, нелепым объектом, не имеющим ко мне отношения?.. Все было совсем иначе, когда я смотрел на гипс в Одде — я совершенно ясно помнил, что находил его не только защищающим и удобным, но и дружелюбным и радушным, уютным теплым домом, который приютит мою бедную ногу до тех пор, пока ей не станет лучше. Теперь он вовсе не выглядел Дружелюбным или теплым. Не мог я и представить себе, как такое могло быть в прошлом. С другой стороны, не казался он и отталкивающим, недружелюбным или враждебным — он не казался вообще никаким, не имел никаких качеств.

В особенности не казался гипс домом. Я не мог представить себе, что он дает пристанище чему-либо, не говоря уже о части меня. У меня возникло чувство, что он или сплошной, или полый — но, во всяком случае, не содержит в себе ничего. Я посмотрел на краешек безжизненной плоти над гипсом, а потом всунул руку внутрь. Действительно, там оказалось так много места, что я засунул под гипс обе руки. Ощущение было невероятно шокирующим и жутким. Накануне, когда я щупал четырехглавую мышцу, я нашел ее «ужасной»

— вялой и мягкой, как безжизненное желе или сыр. Однако

тот ужас не шел ни в какое сравнение с тем, что я почувствовал сейчас. Накануне, коснувшись мышцы, я по крайней мере коснулся чего-то — чего-то неожиданного, неестественного, может быть, не похожего на живую плоть, — но тем не менее чего-то, в то время как сегодня — что было невозможным — я не коснулся ничего. Плоть под моими пальцами больше не представлялась плотью. Она больше не казалась материальной. Она вообще больше ничего не напоминала. Чем дольше я смотрел на нее и трогал, чем меньше она была здесь, тем больше становилась ничем. Неживая, нереальная, она не была частью меня, не была частью моего тела или чем-то еще. Она не входила никуда. Она не имела места в мире.

> То, что не есть Тело, не является частью Вселенной... и поскольку Вселенная — это все, то, что не есть Тело,есть Ничто и Нигде.
>
> *Гоббс*

Я что-то потерял — это было ясно. Казалось, я потерял свою ногу — что было абсурдом, потому что вот же она, внутри гипса, в полной сохранности — несомненный факт. Как могли в этом возникнуть сомнения? И тем не менее они возникли. Насчет этой мелочи — обладания ногой — я глубоко сомневался, был совершенно не уверен.

Когда я закрывал глаза, например, у меня совсем не было ощущения того, где находится нога, — не было ощущения, что она «здесь» в противоположность «там», не было ощущения, что она есть хоть где-нибудь, — вообще никакого ощущения. И что можно чувствовать, что можно утверждать насчет чего-то, чего нет нигде? Похоже, что имеет место тяжелое нарушение проприоцепции, обнаруженное в силу чистой случайности, хотя затем мы с сестрой Сулу тщательно его исследовали, — и это каким-то образом стало последней соломинкой. Уже возникли серьезные проблемы и вопросы, в особенности в связи с поврежденной и прооперированной мышцей: ее полной атрофией, отсутствием тонуса, несомненным параличом. И вопросы высшего порядка — явный распад навыков и представлений, так что я больше не мог сообразить или вспомнить, как совершать движения, влияющие на эту мышцу. Вследствие этого возник тотальный, абсолютный, «экзистенциальный» распад, ускоренный обнаружением распада ощущений и чувств; именно тогда и только тогда нога неожиданно приобрела жуткий характер — или, что точнее и менее связано с воспоминаниями, лишилась характера вообще, стала чуждым загадочным предметом, на

который я смотрел, который трогал без каких-либо ощущений, узнавания и выявления отношений к целому. Только когда я стал смотреть на нее и чувствовать, что ее не знаю, что она не часть меня и, более того, я не знаю, что это за «вещь» и частью чего является, я потерял ногу. Снова и снова я возвращался к этим трем словам, словам, которые выражали для меня окончательную истину, какими бы нелепыми они ни могли бы показаться кому-то еще. В определенном смысле я таки потерял ногу. Она исчезла, ее не было, она была отсечена сверху. Я был теперь жертвой ампутации, но все же не обычной жертвой, потому что нога объективно, на внешний взгляд, существовала — она исчезла только субъективно, на внутренний взгляд. Таким образом, я, так сказать, перенес ампутацию «интернально». Неврологически, нейропсихологически это был несомненный факт. Я потерял внутренний образ, или репрезентацию, ноги. Имело место нарушение, стирание представительства в мозгу — этой части телесного образа, как говорят неврологи. Отсутствовала часть моей «внутренней фотографии». Я мог бы также употребить некоторые термины эго-психологии, имеющие более чем случайные совпадения с таковыми из неврологии. Я мог бы сказать, что потерял ногу как внутренний объект, как символическое и аффективное имаго. Похоже, что мне требовались оба набора терминов, потому что во внутреннюю потерю были вовлечены и «фотографические», и «экзистенциальные» факторы. Таким образом, с одной стороны, имел место серьезный перцептивный дефицит, так что я утратил всякое ощущение ноги. С другой стороны, имелся симпатический дефицит, так как я в значительной мере потерял привязанность к ноге. И то, и другое подразумевало использование обеих групп терминов — чувство моей личной, живой, любимой реальности было заменено реальностью безжизненной, неорганической, чуждой.

Что могло быть причиной столь полного, столь пагубного изменения, столь полного исчезновения ощущения, такого полного разрушения нервного образа — имаго? Ко мне вернулось давно забытое воспоминание о тех днях, когда я был студентом — практикантом в неврологическом отделении. Одна из сестер позвонила мне в сильном беспокойстве и рассказала по телефону такую историю. К ним только что поступил новый пациент, молодой человек, весь день казавшийся очень милым, очень нормальным — до того момента, когда проснулся после дневного сна. После этого он стал выглядеть возбужденным и странным — совершенно непохожим на себя. Он умудрился каким-то образом выпасть из кровати и сидел на полу, бесновался, кричал и

отказывался вернуться в постель. Не мог я бы прийти и разобраться?

Когда я вошел в палату, пациент лежал на полу рядом со своей кроватью и пристально смотрел на одну ногу. Его лицо выражало гнев, панику, растерянность и изумление — в первую очередь изумление с некоторым оттенком испуга. Я спросил его, не вернется ли он в постель и не нуждается ли он в помощи, однако эти предложения только взволновали его; он покачал головой. Я присел на корточки рядом с ним и положил на пол историю болезни. Тем утром его госпитализировали для некоторых обследований, сказал он мне. У него не было жалоб, но невропатолог, зная о его «ленивой» левой ноге (именно это выражение было употреблено), счел, что ему лучше лечь в больницу. Молодой человек весь день прекрасно себя чувствовал, а к вечеру задремал. Проснувшись, он по-прежнему чувствовал себя хорошо до тех пор, пока не пошевелился на кровати. Тут он обнаружил, по его выражению, в своей постели «чью-то ногу» — отрезанную человеческую ногу, совершенный кошмар! Он был поражен, испытал изумление и отвращение — никогда он не испытывал и даже вообразить себе не мог такой невероятной вещи. Он осторожно пощупал ногу. Она казалась совершенно здоровой, но странной и холодной. Тут его озарило: он «понял», что это все розыгрыш. Довольно чудовищный и неуместный, но очень оригинальный. Был канун Нового года, и все его праздновали. Половина персонала была пьяна, все шутили и запускали петарды — вполне карнавальная сцена. Очевидно, одна из сестер с извращенным чувством юмора пробралась в помещение для вскрытий, стащила ампутированную ногу, а потом засунула ее ему в постель, пока он спал. Такое объяснение принесло ему облегчение, но шутка шуткой, а дело зашло слишком далеко — и он выбросил мерзкую вещь из своей постели. Но... — тут способность говорить спокойно изменила пациенту, он внезапно задрожал и побледнел — когда он выбросил чужую ногу из постели, он каким-то образом последовал за ней — и вот теперь она прикреплена к нему.

— Вы только посмотрите! — воскликнул он с отвращением. — Вы хоть когда-нибудь видели такую мерзкую, отвратительную штуку? Думаю, она от свежего трупа. Это просто жутко! И еще — совершенно чудовищно — она вроде как приросла ко мне! — Он схватил ногу обеими руками и с силой попытался оторвать ее; не сумев, он в гневе стукнул ее кулаком.

— Полегче! — остановил его я. — Успокойтесь! Я на вашем месте не стал бы так ее бить.

— Почему это? — воинственно и раздраженно

поинтересовался он.

— Потому что это ваша нога, — ответил я.

— Разве вы не узнаете собственную ногу?

Он вытаращил на меня глаза с выражением изумления, недоверия и ужаса, смешанных с некоторой долей шутливого подозрения.

— Ну, доктор, — протянул он, — вы меня разыгрываете! Вы сговорились с той сестрой — нельзя же так шутить над пациентами!

— Я не шучу, — возразил я. — Это ваша нога.

Он увидел по моему лицу, что я совершенно серьезен, и впал в ужас.

— Говорите, это моя нога, доктор? Не считаете ли вы, что человек должен узнавать собственную ногу?

— Совершенно верно, — ответил я. — Человек должен узнавать собственную ногу. Может быть, это вы с самого начала нас разыгрывали?

— Богом клянусь, вот вам крест, ничего подобного... Человек должен знать собственное тело, знать, что принадлежит ему, а что — нет. Но эта нога, эта... — его снова передернуло от отвращения, — она какая-то неправильная, ненастоящая... она не кажется частью меня.

— А чем она вам кажется? — растерянно спросил я, к этому времени так же сбитый с толку, как и пациент.

— Чем кажется? — медленно повторил он мой вопрос. — Я скажу вам, чем она кажется. Она совершенно ни на что не похожа. Как может подобная штука принадлежать мне? Я и не представляю себе, где ей могло бы быть место... — Голос его стих. Он выглядел испуганным и шокированным.

— Послушайте, — сказал я, — не думаю, что вы здоровы. Пожалуйста, позвольте нам положить вас на кровать. Однако мне хотелось бы задать вам последний вопрос. Если эта... эта вещь — не ваша левая нога (при разговоре он однажды назвал ее подделкой и выразил удивление тем, что кто-то приложил такие усилия, чтобы «смастерить муляж»), то где ваша собственная левая нога?

Он снова побледнел — побледнел так сильно, что я подумал: не потеряет ли он сознания?

— Не знаю, — ответил он. — Понятия не имею. Она исчезла. Ее нет. Ее нигде нельзя найти...

Я был глубоко встревожен тем происшествием — настолько глубоко, как я теперь понял, что выбросил его из памяти более чем на пятнадцать лет; и хотя я считал себя неврологом, я полностью забыл об этом случае, вытеснил его из своего сознания

— до момента, когда оказался, по-видимому, в положении того бедняги, испытывая (в этом едва ли можно было сомневаться) то же, что испытывал он; как и он, я был испуган и потрясен до глубины души. Было ясно, что в каком-то смысле мои симптомы совпадали с симптомами того молодого человека, что все они вместе образовывали такой же синдром.

Подобный синдром был впервые описан в прошлом столетии Антоном и иногда именуется синдромом Антона, хотя тот выделил только некоторые из его особенностей. Более подробно синдром был описан великим французским неврологом Бабинским, который ввел термин «анозогнозия» для своеобразного отсутствия осознания болезни, характерного для таких пациентов. Бабинский оставил замечательные описания странных, почти комичных представлений больных: у некоторых пациентов первым признаком инсульта оказывалась неспособность узнавать одну сторону своего тела и чувство, что она принадлежит кому-то еще, является моделью. Иногда ситуация выглядела как шутка — человек мог обернуться к соседу в поезде и сказать о собственной руке: «Извините, месье, но ваша рука лежит у меня на колене», или попросить сестру, убирающую посуду после завтрака: «И еще вон та рука — уберите ее вместе с подносом». Я подумал о необычных случаях из собственной практики: например, о пациенте из «Маунт Кармель», который «обнаружил» в своей постели давно потерянного брата. «Он все еще не отделен от меня! — заявлял он возмущенно. — Что за наглость! Вот его рука!» — и он поднимал свою левую руку, держа ее правой. Бабинский отмечал, что многих таких пациентов считали сумасшедшими. Действительно, для них существует особая разновидность сумасшествия — somatophrema phantastica, по терминологии Крепелина. Однако это «сумасшествие» чрезвычайно специфическое, обладающее постоянством проявлений. Оно неожиданно возникает у вполне уравновешенных людей, не проявлявших до того никаких признаков сумасшествия, и связано с поражениями мозга — в особенности задних отделов правого полушария, контролирующих отчет о действиях, или гнозис, левой стороны тела. Поцль в Вене дополнил эти описания и, возможно, обсуждал природу таких нарушений с Фрейдом, сравнивая и противопоставляя их соматогенным галлюцинациям. Для Фрейда, который был неврологом, и великим неврологом в юности (он в 1891 году ввел термин «агнозия»), и сохранил интерес к неврологии до конца жизни, и для его дочери Анны, уже известной своими ранними работами в эгопсихологии, эти описания синдрома Поцля (психокинестетической аллестезии)

имели огромный интерес. Отца и дочь Фрейдов должен был чрезвычайно заинтересовать факт существования специфического патопсихологического синдрома, связанного с поражением правого полушария, который мог вызывать специфические и странные изменения в телесной идентичности, так что пациент мог находить конечность незнакомой, быть не в состоянии отнести ее к себе или (в силу рационализации или психологической защиты) приписывать ее, хотя бы временно, кому-то другому. Поцль выявил также странные специфические изменения аффективного спектра, проявлявшиеся в нелепых (и часто комичных) аспектах ситуации — когда пациенты, как было замечено, могут отмахиваться от своей конечности или просить сестру убрать ее. Такие пациенты, проявляющие совершенно нормальные реакции и аффекты во всех прочих отношениях, могут обнаруживать удивительное равнодушие к пострадавшей конечности. Это, по наблюдениям Бабинского, было одной из причин того, что многим из них ставили диагноз «истерия», «шизофрения» или какое-то иное «диссоциативное нарушение». Действительно, существовала поразительная диссоциация — не только нервная, но также эмоциональная и экзистенциальная. Она, впрочем, была вызвана не «подавлением» концепции или аффекта, а являлась следствием разобщения нервов.

Еще в начале карьеры Фрейд, по предложению Шарко, написал классическую статью о различиях между органическими и истерическими параличами. Ему было очень интересно узнать в конце жизни — синдром Поцля был описан в 1937 году — о том, что некоторые особенности, которые легко можно было принять за истерические — типичная диссоциация и вежливое или шутливое безразличие, — были в данном случае чисто органическими или, точнее, откликом человека и его эго-структуры на определение границ «я» и «не-я» при выраженной телесной агнозии. Разве не говорил Фрейд, учение которого уходило корнями в физиологию и биологию, что «Эго в первую очередь и главным образом — телесное Эго»!

Так что же теперь? Возник ли у меня синдром Поцля? Мой случай, безусловно, выглядел от него неотличимо! Меня можно было бы использовать для демонстрации в аудитории этой редкой и странной «нейроэкзистенциальной» патологии — и на мгновение я представил себя, профессора Антона- Бабинского-Поцля-Сакса, демонстрирующего поразительный случай этого синдрома на себе! Тут я, как раньше на Горе, неожиданно понял, что этот поразительный случай — я сам, вовсе не пациент доктора Антона-Бабинского-Поцля- Сакса, которого нужно продемонстрировать и описать, а очень испуганный человек, нога

которого не только пострадала и была прооперирована, но стала фактически бесполезной, потому что она больше не была частью моего «внутреннего образа» — она стерлась из моего образа тела; кроме того, мое Эго подверглось патологии самого пугающего и необъяснимого свойства.

У моего бедного пациента, которого я осматривал в тот памятный канун Нового года, срочная операция выявила большую сосудистую опухоль в правой теменной доле мозга. Она начала кровоточить, пока он спал, так что к моменту пробуждения «ножная территория»

— та часть мозга, в которой было представлено положение и наличие ноги, оказалась фактически отключенной. В результате ему стало невозможно нормально ощущать свою ногу — чувствовать ее как наличествующую часть своего тела, — так что когда он ее обнаружил, она показалась ему чуждым объектом, подложенным ему в постель: чьей-то еще ногой, ногой трупа и, наконец, странным и нематериальным муляжом.

Так что же все-таки со мной? Было ясно, что у меня тоже синдром Поцля, угасание левой ноги, — и что я тоже, как и тот мой пациент, должно быть, страдаю от какого-то серьезного повреждения правой теменной доли. Нас учили физиологии, анатомии, этиологии, и мой ум, тренированный и умелый, быстро устремился по знакомому пути. Физиология говорит, что имеет место дисфункция правого полушария; анатомия соответственно — что имеется большое повреждение в этой области мозга. А этиология... что она говорит о причине? Я ни на мгновение не усомнился: у меня возник эмбол или во время анестезии упало артериальное давление, в результате чего произошел церебральный инфаркт, обширный инсульт в правой теменной доле. «Осложнение анестезии» — написали бы в истории болезни...

Только подумать, чтобы до такого дошло: чудом спастись от смерти или тяжелого увечья на Горе, быть с огромными трудностями доставленным в одно из лучших в мире ортопедических отделений — только чтобы стать жертвой послеоперационного инсульта! Мне представилась панорама мучительной полу- жизни, ожидавшей меня после такого обширного инсульта, со всеми мельчайшими ужасающими подробностями: прикованность к инвалидному креслу, унизительная зависимость, нога, которая одновременно бесполезна и чужда мне; нога, настолько ампутированная интернально, что лучше и проще было бы ампутировать ее и экстернально — это по крайней мере избавило бы меня от необходимости таскать за собой полностью бесполезную, не

функционирующую, действительно усопшую конечность. Ее следовало бы удалить, как удаляют омертвелую ногу, потому, что по сути, она омертвелой и была: неврологически, функционально и экзистенциально мертвой.

Я лежал, погруженный в это видение, неизвестно сколько времени — в ледяном фаталистическом отчаянии, стеная, подумывая о самоубийстве и шевеля пальцами ноги. Пальцами ноги! Я совсем забыл — с пальцами- то было все в порядке! Вон они — розовые и живые, шевелящиеся как будто в насмешку над моими абсурдными размышлениями! В какую бы мрачную ипохондрию я ни погрузился, я все же не забыл элементарной нейроанатомии. Инсульт, достаточно обширный, чтобы отключить остальную часть ноги, наверняка отключил бы и ступню и пальцы тоже. Как только это до меня дошло, я от всего сердца расхохотался. С мозгом у меня все в порядке — никакого инсульта! Не знаю, что произошло, но инсульта у меня нет!

Я позвонил, и явилась сестра Сулу; на ее молодом спокойном лице была написана озабоченность.

— В чем дело, доктор Сакс? С вами все в порядке?

— Все прекрасно, — ответил я. — Замечательно. Лучше и не придумаешь! Я обнаружил, что ко мне вернулся аппетит. Как вы думаете, не удастся ли раздобыть для меня сандвич или еще что-нибудь?

О Боже мой! — сказала она. — Как же вы меняетесь! Когда я уходила, вы выглядели ужасно — были бледным и дрожащим от страха. А теперь вы выглядите отлично — так же как во время завтрака.

— Ну, я тут кое-что обдумывал... и позволил себе переволноваться. Если получить сандвич трудно, то хоть чашку чая и бисквит...

— Но, доктор Сакс, вы можете получить весь ленч. Его все еще разносят, знаете ли.

— Правда? Сколько же времени прошло с тех пор, как вы помогали мне тестировать ногу?

Сестра Сулу взглянула на часы.

— И десяти минут не прошло, — ответила она. — Вам показалось, что больше?

Меньше десяти минут! Я с трудом верил своим ушам. За эти десять минут, как мне казалось, я прожил целую жизнь. Я прошел через целую вселенную мыслей — а ленч все еще подают!

Сестра Сулу принесла мне поднос. Я обнаружил, что голоден как волк, что представлялось совершенно естественным после всех моих физических и метафизических усилий этого утра, — я был голоден, жаждал чувственных удовольствий и приятных

ощущений.

Во время еды мой разум бурлил — я заново перебирал слова молодого человека с опухолью в мозгу, который «потерял» свою левую ногу. К счастью для него, опухоль была доброкачественной, и быстрое хирургическое вмешательство полностью восстановило церебральные функции. Может быть, он жив до сих пор и читает эти строки! Я навестил его, когда он поправлялся, через несколько недель после операции, чтобы узнать, как у него дела и сохранились ли воспоминания о кануне Нового года.

Те переживания, сказал он мне, были самыми странными и путающими в его жизни; он не поверил бы, что такое возможно, если бы сам не пережил тот случай. Случай был «безумный» — он дважды повторил это слово и не соответствовал здравому смыслу. Самым страшным было опасение, что он полностью сошел с ума. Оно усугублялось его попытками поговорить с персоналом; ему постоянно говорили, что случившееся — чепуха и чтобы он не глупил. Он был очень рад и благодарен мне за то, что я хотя бы его выслушал — хоть я и был студентом и «не знал ничего», я постарался понять. Он очень обрадовался, сказал молодой человек, когда нейрохирурги (которых я вызвал) заверили его, что болезнь его реальна, а не «существует только у него в уме», хотя он и был очень испуган известием о том, что в мозгу у него опухоль, требующая операции. Однако даже хотя механизм «угасания» ему объяснили и сказали, что существует вероятность восстановления функций ноги, когда давление на мозг будет устранено, он обнаружил, что не может поверить услышанному. Это не было похоже, пытался он объяснить, на обычную потерю — когда вы что-то кладете не на место. Самое ужасное в его случае было то, что нога не была «положена не на место», а на самом деле свое место потеряла. И

поскольку больше не было места, куда она могла бы вернуться, он просто не видел, как могла бы вернуться его собственная нога. Раз это было так, никто не мог обнадежить его, и когда ему сказали, что его нога вернется, он только кивнул и улыбнулся.

Да, это было то положение, в котором я оказался, — в точности такое же. Нога исчезла, забрав вместе с собой свое место. Таким образом, казалось невозможным ее вернуть — независимо от нанесенного ей увечья. Не поможет ли мне память в том, в чем не мог помочь взгляд в будущее? Нет! Нога исчезла, забрав с собой и свое прошлое. Я больше не мог вспомнить, как у меня была нога. Я больше не мог вспомнить, как ходил и поднимался в гору. Я чувствовал себя невероятным образом отрезанным от человека, который ходил и бегал, карабкался по

скалам всего пять дней назад. Между нами существовала только формальная связь. Существовала брешь — абсолютная брешь — между «тогда» и «теперь», и в эту брешь, в эту пропасть провалился я прежний, тот я, который, не задумываясь, стоял, бегал и ходил, который был полностью и безоговорочно уверен в своем теле. В эту брешь, в эту пропасть вне времени и пространства канули и исчезли реальные возможности моей ноги. Я часто задумывался о том, что выражение «растворились в воздухе» одновременно и абсурдно, и загадочнозначительно. Словно в упрек моим сомнениям, в воздухе растворилась моя собственная нога, и я, как и пациент с кровоточащей мозговой опухолью, не мог себе представить ее возвращение нормальным, физическим способом, потому что она исчезла из времени и пространства исчезла, забрав с собой свое пространство-время. Если возможности ноги канули в брешь, в пропасть, «растворились в воздухе», они должны были бы вернуться оттуда, и жуткой поразительной тайне исчезновения могла быть равной только такая же тайна возвращения. Нога покинула существование (что бы ни понимать под существованием) и тем самым должна была бы каким-то образом в него вернуться. Мой разум буквально дымился от мыслей о развеществлении и воссоздании. Воды становились все глубже и глубже; я не смел думать слишком много, чтобы не утонуть в них.

И тут, развеяв метафизический туман, перед моим умственным взором неожиданно возникла крепкая и шумная фигура доктора Джонсона[11]. Мое подсознание призвало его, чтобы пробудить от берклианского[12]кошмара. Я увидел его с необыкновенной ясностью — и немедленно влюбился в него и в его здравый смысл. В ответ на вопрос о «берклианской доктрине» — предполагаемой нереальности материальных объектов — он предложил сильно ударить ногой по камню, говоря: «Бах! Таким образом я его опровергаю!» Я всегда считал этот ответ совершенным — теоретически, практически, драматически, комически: он был очевиден, единственно возможен, но для него потребовался гений Джонсона. Ответ на подобные вопросы дается действием.

Мне представилась яркая умственная картина: Джонсон, пинающий камень, — такая живая, такая забавная, что я рассмеялся про себя. Но как я мог применить джонсоновский тест к себе? Я жаждал изо всех сил пнуть камень и, делая это, продемонстрировать существование пинающей ноги и камня. Но как мог я пинать что-либо невообразимой нематериальной ногой? Я не смог бы войти в контакт с камнем. Таким образом, тест Джонсона обернулся бы против меня, и его неудача, или

невозможность попытаться, только подтвердила бы нереальность ноги и еще безнадежнее загнала меня в берклианский замкнутый круг. Образ моего дородного и неустрашимого героя поблек. Даже славный Сэм Джонсон, оказавшись в моем положении, не сумел бы изменить его.

Теперь место Джонсона на моей сцене оказалось занято Витгенштейном[13]; мне показалось, что эти двое, внешне такие непохожие, могут довольно хорошо поладить (я постоянно изобретаю воображаемые встречи и диалоги). Я услышал произнесенные голосом Витгенштейна первые слова его последней работы «О достоверности»: «Если вы можете сказать «здесь одна нога», мы предоставим вам все остальное... Вопрос в том, позволяет ли здравый смысл сомневаться в этом». (Только потом я заметил, что моя память или воображение заменили «ногой» «руку».) «Достоверность», по Витгенштейну, основывалась на уверенности в теле. Однако уверенность в теле основывалась на действии. Ответ на вопрос Витгенштейна о том, можно ли быть уверенным в своей руке, заключался в том, чтобы ее поднять или заехать кому-то в физиономию, — как ответ Сэмюэла Джонсона заключался в том, чтобы пнуть камень.

Джонсон и Витгенштейн были совершенно согласны друг с другом: человек существует и может доказать это, потому что действует — потому что может поднять руку или пнуть камень. Я неожиданно подумал: человек, обладающий фантомом — призрачной ногой, — камень пнуть не мог бы.

Я неожиданно почувствовал себя безутешным и заброшенным и — в первый раз, возможно, с тех пор как поступил в больницу — ощутил отличающее пациента одиночество, такое одиночество, которого не испытывал на Горе. Теперь я отчаянно желал общения и ободрения, как нуждался в них тот молодой человек, который пусть и с трудом и переживаниями, но выкарабкался. Превыше всего я нуждался в разговоре с моим хирургом или лечащим врачом. Мне нужно было рассказать ему, что со мной случилось, чтобы он мог сказать: «Да, конечно, я понимаю».

Я уснул, а разбудил меня приход моей самой любимой тетушки. Я надеялся, что она может заглянуть, но сомневался в этом, поскольку был день ее рождения. Неустрашимая в свои восемьдесят два, после завтрака и ленча с друзьями (и еще одна встреча, сказала она, ожидается за ужином), она пересекла весь Лондон, чтобы в свой день рождения выпить со мной чаю, поскольку я не мог, как обычно делал, явиться для этого к ней. Неожиданно вспомнив во время завтрака, что сегодня день рождения тетушки, я уговорил сестру Сулу добыть для меня подарок — книгу, выбрав после некоторых колебаний, «Тетушка

— старая дева в реальности и в литературе». Я с некоторыми опасениями вручил подарок, предупредив, что сам книгу не читал, возможно, она ужасна (хотя все говорили, что книга превосходна) и, может быть, тетушке не понравится упоминание о старой деве.

— Но я обожаю это! — воскликнула тетушка, беря книгу. — Мне очень нравится быть тетушкой — старой девой. Я не хотела бы быть никем иным. Особенно мне приятно иметь восемьдесят семь племянников и племянниц и двести тридцать внуков и внучек, притом что на протяжении шестидесяти лет одиннадцать из них я учила. Лишь бы в книге нас не изображали как бесплодных и одиноких!

— Если это окажется так, — сказал я, — я отошлю ее обратно автору!

Тетушка порылась в сумке и вытащила что-

то.

— Я тоже принесла тебе книгу в подарок. В свой день рождения ты был где-то в Арктике. Я знаю, что ты любишь Конрада. Это ты читал?

Я развернул книгу и обнаружил, что это «Гребец».

— Нет, не читал, — ответил я, — но название мне нравится.

— Да, — сказала тетушка, — оно тебе подходит. Ты ведь всегда был гребцом. Существуют гребцы и существуют домоседы, но ты — определенно гребец. С тобой, похоже, случаются странные приключения одно за другим. Интересно, доберешься ли ты когда- нибудь до пункта назначения?

За приятным спокойным чаепитием — моя добрая тетушка каким-то образом уговорила обычно непреклонную старшую сестру прислать нам сандвичи с кресс-салатом и огромный чайник, — под любящим и доверчивым взглядом тетушки я рассказал о некоторых из случившихся со мной в этот день открытий.

Она внимательно слушала, не говоря ни слова.

— Дорогой мой Оливер, — сказала она, когда я закончил, — ты и раньше бывал в глубоких водах, но эти — самые глубокие. — По ее лицу промелькнула тень. — Очень, очень глубокие, — пробормотала она почти про себя.

— Очень глубокие, странные, темные... — Тетушка задумалась, потом взглянула мне в глаза и сказала: — Я ничего тут не понимаю, но уверена, что понять можно; я уверена, что, поплавав туда-сюда, ты доберешься до понимания. Ты должен мыслить очень ясно, быть сильным и смелым. Тебе также придется склонить голову, стать смиренным и признать, что есть много вещей, не поддающихся пониманию. Ты не должен быть

высокомерен, но не должен быть и малодушным. И тебе не следует ожидать слишком многого от хирурга. Не сомневаюсь, что он хороший человек и первоклассный специалист, однако твой случай выходит далеко за рамки хирургии. Ты не должен сердиться, если он не поймет тебя полностью. Ты не должен ожидать от него невозможного. Ты должен предвидеть, что существуют границы, и уважать их. У хирурга существует множество ограничений, как и у нас всех. Профессиональные ограничения, умственные ограничения, а особенно эмоциональные ограничения... — Тетушка помолчала, погрузившись в какое-то воспоминание. — Хирурги находятся в странном положении, — наконец заговорила она снова. — Они сталкиваются со специфическими конфликтами. Твоя мать... — Тетушка заколебалась, вглядываясь в мое лицо. — Твоя мать была предана своей профессии хирурга, и еще она была очень нежной и чувствительной, так что иногда ей бывало трудно совместить свои человеческие чувства с хирургией. Ее пациенты были ей очень дороги, однако как хирург она должна была смотреть на них только с точки зрения анатомии и хирургии. Иногда еще, когда она была моложе, она казалась почти безжалостной, но только потому, что ее чувства были так сильны: они ее захватили бы, если бы она твердо не удерживала дистанцию. Только позднее ей удалось достичь равновесия — важнейшего равновесия между медицинскими проблемами и личными отношениями.

Будь мягок, Оливер, — наставляла она меня.

— Не реагируй болезненно на мистера Свена. Не называй его «хирург» — это звучит не по- человечески! Помни, что он человек — такой же как и ты. Может быть, даже слишком, и более стеснительный, чем ты. Все неприятности начинаются, когда люди забывают о том, что они — люди.

Добрые, мудрые, простые слова! Если бы я только к ним прислушался! Если бы я обладал редкими кротостью и великодушием моей милой тетушки, ее внутренней безмятежностью и уверенностью, которые позволяли ей встречать все превратности жизни с добрым ровным юмором, никогда ничего не преувеличивать, не искажать, не игнорировать.

За вторым чайником — тетушка пила не меньше чая, чем доктор Джонсон, — разговор благодаря игривой атмосфере стал свободнее, легче, проще, и мрачные тени, ужасная серьезность, которую я ощущал раньше, рассеялись в воздухе.

Уже собравшись уходить, тетушка неожиданно в быстрой последовательности рассказала мне три анекдота поразительной фривольности, но преподнесенные со сдержанной точностью и приличием выражений.

Я так смеялся, что испугался: не разошлись бы швы; пока я смеялся, тетушка поднялась и откланялась.

Да, да! Все станет понятно, все удастся исправить, обо всем позаботиться. Все хорошо и будет хорошо! Были некоторые незначительные осложнения, связанные с операцией или травмой. Природа этого была для меня несколько неясна, но утром Свен все объяснит. Он хороший человек, у него годы опыта в ортопедии, он, должно быть, видел подобные случаи сотни раз; я мог рассчитывать на простой обнадеживающий диагноз и благоприятный прогноз. Он скажет... Ну я не очень-то представлял, что он скажет, но верил в него и в то, что все будет хорошо. Да! Я мог с уверенностью отдаться в его руки — мне следовало подумать об этом раньше, вместо того чтобы мучить себя размышлениями в одиночестве. Рассчитывая помочь себе, я только совершенно без надобности впал в панику!

Каким человеком окажется Свен? Я знал, что он хороший хирург, но я ведь вступлю в отношения не с хирургом, а с личностью или скорее с человеком, в котором, как я надеялся, сольются хирург и личность. Встреча с молодым хирургом в Одде была в своем роде совершенством для того момента. Однако теперь мое положение было сложнее и туманнее, так что и у мистера Свена задачи куда серьезнее. Он не мог бы впорхнуть в палату, танцуя и улыбаясь, и тут же исчезнуть; на нем лежит большая ответственность — перспектива выхаживать меня недели, а то и месяцы. Мне не следовало требовать от него слишком многого или перегружать его своим отчаянием. Если он человек чуткий, он сразу же его уловит и рассеет — спокойно и авторитетно. То, чего я не смог бы сделать и за сотню лет, именно потому что погружен в свое состояние пациента и не способен из него вырваться, то, что казалось мне непреодолимо трудным, он рассечет одним ударом своего скальпеля отстраненности, проницательности и авторитета. Он не должен ничего объяснять, он должен только действовать. Мне не требовались относящиеся к делу сообщения: «Мы встречаемся с этим синдромом в 60% случаев. Он приписывается факторам X, Y и Z. Выздоровление, по разным данным, происходит в таком-то числе случаев, в зависимости от того- то и того-то». Мне был нужен только голос, простота, уверенность специалиста: «Да, я понимаю. Такое случается. Не тревожьтесь. Делайте то-то и то-то. Верьте мне! Вы скоро поправитесь!» — или другие подобные слова, слова совершенно прямые и ясные, без всякого намека на уклончивость или лживость.

Если он на самом деле не сможет обнадежить меня такими словами, я хотел бы услышать честное признание факта. Я ничуть

не меньше стану уважать его прямоту и авторитет, если он скажет: «Сакс, черт знает что — я не могу разобраться, что с вами. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это выяснить». Если он обнаружит страх — честный страх, — я буду уважать его по-прежнему. Я отнесусь с уважением ко всему, что он скажет, при условии что он будет откровенен и проявит уважение ко мне, к моему человеческому достоинству. Если он будет честен и мужествен, и я смогу быть таким же.

Мысли о посещении Свена, его понимании, его поддержке позволили мне наконец полностью расслабиться. Этот день был самым странным и пугающим в моей жизни — в определенном смысле более странным и пугающим, чем день, проведенный на Горе. Там мои страхи, хоть и огромные, были естественными и реальными: там я мог смотреть в лицо смерти и делал это. Однако то, что противостояло мне теперь, было неестественным и ненатуральным. Я был в растерянности... Но Свен все поймет, он наверняка сталкивался с таким и раньше: я мог на него рассчитывать. Как часто я сам как врач нередко рассеивал мрачные предчувствия своих пациентов — не благодаря знаниям, умениям или квалификации, но просто потому, что выслушивал их. Я не мог дать этого себе, я не мог быть сам себе врачом, — но другой человек может. Вот Свен завтра...

Таким образом, день закончился глубоким, лишенным сновидений сном, в который я доверчиво погрузился, — по крайней мере до середины ночи. Однако потом началась последовательность сновидений самого гротескного и невероятного сорта, сновидений, которые никогда раньше мне не снились — ни когда я беспокоился, ни когда у меня повышалась температура или начинался бред... Несколько часов я оставался жертвой этих кошмаров. Я ненадолго просыпался, в недоумении и ужасе, только чтобы через мгновение снова погрузиться в сновидение. В определенном смысле они не были похожи на сны — они отличались монотонностью и постоянством, которые были совершенно несвойственны сновидениям; скорее они напоминали повторение какой-то неизменной физиологической реальности. Мне снилась только нога — точнее, не нога. Мне снова и снова снилось, что гипсовый цилиндр — сплошной, что нога у меня — неорганическая, из мела, штукатурки или мрамора. Я сидел в кресле, возможно, за обедом, или на скамье в парке, наслаждаясь солнечным теплом, — эти части сновидения были простыми и прозаическими, — но что бы я ни делал, я никогда не стоял и не шел, и всегда вместо ноги у меня был белый каменный цилиндр, такой же неподвижный, как нога статуи. Иногда он состоял не из штукатурки или мрамора, а чего-то хрупкого и рыхлого, как песок

или цемент, — и эти сны сопровождались дополнительным страхом: не было ничего, что удерживало бы эту массу вместе, она не имела внутренней структуры или сцепления — только внешнюю поверхность без видимого содержимого. Часто мне снилось, что гипсовая нога совершенно полая, хотя это слово не совсем адекватно: не столько полая, сколько пустая, меловой конверт, просто скорлупа вокруг пустоты, вакуума.

Иногда это была нога из тумана, который тем не менее сохранял свою неподвижную, застывшую форму, иногда — и это было хуже всего — нога состояла из темноты или тени... или вообще из ничего. Той ночью никаких изменений в сновидениях не происходило, или скорее изменения были чисто периферийными и случайными, с небольшими различиями в окружающей обстановке. В центре каждой сцены находилось это неподвижное, нематериальное, невыразительное нечто. Ни у одного сновидения не было сюжета. Они были застывшими и статичными, как живые картины или диорамы, созданные словно исключительно ради демонстрации этой пустоты, этого фантома, о котором ничего нельзя сказать.

Я иногда на мгновение просыпался — должно быть, с дюжину раз, делал глоток воды, тушил свет — и снова, не изменившись от пробуждения, передо мной оказывалась белая как мел реальность, или нереальность, моих снов. Именно в один из таких моментов, когда в окне уже стали заметны первые лучи рассвета, я неожиданно понял, что меня преследуют неврологические сновидения, не лишенные навязчивых фрейдистских аспектов, но привязанные к неизменному органическому детерминанту. И еще я внезапно вспомнил, что, хотя сам никогда раньше подобных снов не видел, я иногда слышал точно такие же описания от своих пациентов, страдавших инсультами, параплегиями, тяжелыми невропатиями, фантомными болями, — пациентов с различными патологиями и повреждениями, общим для которых было одно: серьезные неполадки с образом тела. То, что им снилось ночь за ночью (как предстояло и мне), основывалось именно на нарушениях образа тела и псевдообразах, фантомах, ими порожденных. Мои собственные сновидения, как мне теперь казалось, подтверждали как раз это: часть моего образа тела, телесного Эго, умерла. Такое заключение сопровождалось великой паникой, но и великим облегчением, так что я снова уснул крепким сном без сновидений; однако наутро мне приснился странный кошмар, сначала показавшийся мне, впрочем, всего лишь «обычным» кошмаром. Мы воевали — с кем и почему, оставалось неясным. Что было ясным и повторялось всеми, так это опасение того, что враг обладает абсолютным

оружием, так называемой отрицающей бомбой. Она могла, говорили шепотом, пробить дыру в реальности. Обычное оружие только разрушало материальные объекты в определенном месте; эта же бомба уничтожала мысль и само пространство мыслей. Никто из нас не знал, что думать или чего ожидать, поскольку, как нам говорили, эффект такой бомбы нельзя себе представить.

Как и многие приснившиеся мне люди, я испытывал потребность быть на открытом месте; вместе с моей семьей я стоял в саду рядом с нашим домом. Сияло солнце, все казалось нормальным — за исключением окружавшей нас пугающей тишины. Неожиданно у меня возникло чувство, что случилось нечто, хотя я и не имел представления, что именно. Я заметил, что исчезло наше грушевое дерево. Оно находилось слева от меня — и теперь неожиданно его не стало; грушевого дерева на месте не было!

Я не повернул головы, чтобы рассмотреть получше. Почему-то мне даже не пришло в голову перевести взгляд. Грушевое дерево исчезло, но также исчезло и место, где оно находилось. Не было ощущения освободившегося места — места там больше просто не было. Мог ли я быть уверен, что раньше оно было? Может быть, ничего и не исчезало. Может быть, и грушевого дерева никогда не было. Может быть, память или воображение шутят надо мной шутки. Я спросил свою мать, но она была так же растерянна, как и я, — и точно таким же образом; она тоже не могла больше видеть дерева, но тоже сомневалась, существовало ли оно. Не было ли это действием отрицающей бомбы — или наши опасения вызвали нелепые фантазии?

А потом исчезла и часть ограды, включая ворота, ведущие на Эксетер-роуд. Только исчезла ли? Может быть, никакой ограды никогда и не было. Может быть, никогда не было ворот, выходящих на Эксетер-роуд, и никакой Эксетер-роуд тоже... Может быть, слева вообще никогда ничего не было? Моя мать, переместившаяся так, что теперь стояла прямо передо мной, оказалась странным образом рассечена — у нее отсутствовала левая половина. Но... но мог ли я быть уверен, что левая половина у нее была? Не являлось ли само выражение «левая половина» бессмысленным? Меня внезапно охватило непреодолимое отвращение; я почувствовал, что меня сейчас вырвет...

Неожиданно распахнулась дверь, и в палату вошла очень озабоченная сестра Сулу.

— Прошу прощения, что так врываюсь, — сказала она, — но я заглянула сквозь стекло и увидела, что вы ужасно бледны — как будто в шоке. И дышали вы тяжело. Мне показалось, что вас вот-

вот вырвет. Вы хорошо себя чувствуете? — Я молча кивнул, вытаращив на нее глаза. — Почему вы так на меня смотрите?

— Э-э... ерунда, ответил я. — Просто сон плохой приснился. — Мне не хотелось говорить сестре Сулу, которая и так уже пережила достаточно потрясений, что она рассечена надвое и левая ее часть отсутствует. В эти первые секунды по пробуждении — или я все еще был в полусне? — я испытывал странное чувство: возможно, сестра Сулу такой и должна быть? Я помнил, как накануне она сказала, что всего лишь «наполовину обучена»; на мгновение я связал эти слова с ее внешностью. И тут неожиданно с огромным облегчением я обнаружил, что у меня началась одна из моих мигреней. У меня полностью исчезло левое поле зрения; вместе с этим, как временами случалось, возникло чувство, что слева не было (или и не могло быть) мира вообще. Во время сна появилась скотома[14]вследствие мигрени; она и была физиологической основой отрицающей бомбы и странного исчезновения грушевого дерева, ограды и левой половины моей матери. Проснувшись, я воспринимал сновидение как реальность; точнее, то, что было реальным во сне, и не просто сцена, ситуация, символ, осталось в равной мере реальным и после пробуждения.

— Но вы выглядите очень бледным и нездоровым, — настаивала сестра Сулу; говорила она совершенно нормально, несмотря на то что имела всего пол-лица.

— Ну да, я проснулся с мигренью — иногда при этом возникает аура. — Я хихикнул. Ограничение поля зрения, односторонняя слепота теперь, когда я знал, в чем дело, и знал, что она скоро пройдет, казалась довольно забавной. ™ Но я скоро приду в себя. Может быть, чашка чая и тост через несколько минут, когда мои желудок и зрение... — я снова хихикнул, — утихомирятся.

Успокоенная сестра Сулу повернулась к двери, восстановив при этом целостность своей внешности.

Однако понимание того, что у меня возникла односторонняя слепота ничуть не помогло изменить хиатус[15]в восприятии, вернее, хиатус в ощущении, что нет ничего, кроме того, что я вижу, и что, следовательно, бесполезно высматривать половину палаты. Сильнейшим усилием воли, как человек, заставляющий себя двигаться в кошмарном сновидении, я повернул голову налево. И тут, благодарение Богу, в поле зрения попали остальная часть моей постели, полузакрытое окно, выцветшая литография (изображающая, по-видимому, лорда Листера[16], душащего пациента), левая стена палаты и — ах, как прекрасно узнать, что она у меня все еще есть — моя левая рука, лежащая на подушке.

Испытывая абсурдное облегчение оттого, что все на месте, я медленно повернул голову обратно, с улыбкой наблюдая, как снова исчезают левая половина поля зрения, левая половина палаты, левая половина мира, сама идея левизны.

Да! Теперь я мог находить это забавным и поучительным — теперь, когда знал, что происходит и что это ненадолго, однако во сне и в первые мгновения по пробуждении, прежде чем я во всем разобрался, мне было очень страшно. Я вспомнил, что в детстве, когда у меня случались подобные приступы, я находил их невероятно пугающими. В те ранимые годы я очень остро чувствовал две вещи: малейшие изменения или нарушения восприятия и страх признаться в них «неподходящим» людям, чтобы те не сочли их выдумками или не решили, что я псих.

Эти мысли проносились у меня в голове, пока я все еще страдал односторонней слепотой; за ними последовало неожиданное острое ощущение аналогии и прозрения. «Да ведь именно это происходит и с ногой! Как мог я быть таким дураком? У меня скотома в отношении ноги! То, что я испытываю в отношении поля зрения, по сути сходно с тем, что я испытываю в отношении ноги, Я потерял «поле» ноги точно так же, как потерял половину поля зрения».

Когда эта мысль стала мне ясна, я испытал невероятное облегчение. Она оставляла все остальные вопросы и сомнения неразрешенными, включая главный вопрос: станет ли когда-нибудь ноге лучше, — но она обеспечила мне поддержку и понимание, за которые я мог держаться.

И теперь — да — что-то происходило в моем слепом пятне. Пока я размышлял, появился тончайший филигранный узор, более тонкий и прозрачный, чем паутина, обладавший каким™ то еле заметным, колеблющимся, дрожащим, кипящим движением. Он становился яснее, ярче, возникала сетка изысканной геометрической красоты, состоящая, как я мог теперь видеть, исключительно из шестиугольников, покрывавшая все полуполе зрения прозрачным кружевом. Отсутствовавшая часть палаты теперь становилась видима, но оставалась полностью заключена в это кружево, так что теперь она казалась мозаикой из шестиугольных элементов, соприкасающихся и в совершенстве подогнанных друг к другу. Не было никакого ощущения пространства, материальности или протяженности, никакого ощущения присутствия предметов, кроме геометрически соединенных элементов, никакого ощущения движения или времени.

В это время, когда я с каким-то отстраненным, безличным, математическим интересом разглядывал это лишенное

измерений неподвижное мозаичное видение (с которым я иногда сталкивался и раньше), пришла сестра Сулу с чашкой чая и тостом.

— Теперь вы выглядите гораздо лучше, — сказала она. — То вы кажетесь полумертвым, то тут же оживаете. Никогда я не видела такого переменчивого пациента.

Я поблагодарил ее за чай — чашку она поставила на прикроватный столик справа — и, повинуясь импульсу, спросил, не уделит ли она мне минутку.

— Что теперь? — улыбнулась она, подумав, наверное, о моих странных экспериментах накануне.

— Ничего особенного, — ответил я. — Я не прошу вас ничего делать. Но, если можно, не перейдете ли вы на другую сторону палаты, к окну или к тому зловещему изображению лорда Листера?

Она пересекла палату, при этом внезапно сама сделавшись мозаикой: в один поразительный момент, точно на середине палаты, одна ее половина стала мозаичной, в то время как другая осталась реальной. Она неподвижно встала у окна, освещенная сзади проникающим в него утренним светом, наполовину красочная картина, наполовину силуэт; ее геометрический контур на фоне оконной рамы заставил меня вспомнить о мадонне на средневековом витраже. Внезапно я испугался: она сделалась неорганической частью мозаики! Как можно представить себе движение и жизнь в этом кристаллическом мире?

Я попросил сестру Сулу посмотреть на литографию, поговорить, пожестикулировать, погримасничать — сделать что угодно, лишь бы она двигалась. Теперь со смесью удовольствия и беспокойства я заметил, что время фрагментировано не менее, чем пространство, потому что ее движения я видел не как непрерывные, а как последовательность кадров, последовательность разных конфигураций и положений, без всякого движения в промежутках между ними, как при покадровом просмотре фильма. Сестра Сулу казалась остолбеневшей в этом странном мозаичнокинематографическом состоянии, разбитом на части, несвязном, атомизированном. И я не мог себе представить, как разбитый на мозаичные элементы мир сможет когда-нибудь обрести непрерывность и связность. Я не мог себе этого представить — но совершенно неожиданно мир их обрел! Мозаика и мерцание мгновенно исчезли — и передо мной была сестра Сулу, более не разделенная во времени и пространстве, реальная и материальная, теплая и живая, проворная, красивая, снова в потоке деятельности и жизни. В том кристаллическом мире была своя математическая красота, но

никакой красоты действия, красоты плавности.

— Хорошо, — сказал я радостно. — Кажется, вы помогли мне прогнать прочь ауру! И тошнота тоже прошла. А теперь — да, мне хотелось бы копченой селедки, запах которой так соблазнителен.

Я уничтожил огромный сытный завтрак — к немалому удивлению сестры Сулу, которая менее часа назад видела меня смертельно бледным и на грани рвоты. Однако после подобных приступов пациент «пробуждается другим человеком», как писал один известный врач, и я действительно чувствовал себя другим, воскресшим, перерожденным после ночи кошмаров и мигрени. Это возрождение делалось еще более радостным из-за чувства, что я по аналогии сумел в определенной мере понять свою ногу. Это понимание не оказывало никакого действия на физиологическую реальность, но оно извлекло ее из области непонятного, необсуждаемого — теперь я мог бы поговорить о ней со Свеном. Я был уверен в том, что на него мой рассказ произведет глубокое впечатление — и что, в свою очередь, он сможет просветить меня в двух вопросах, имевших для меня наибольшее значение: что вызвало мою скотому и как долго она будет сохраняться? Были, конечно, и другие вопросы, которые я хотел бы ему задать, если позволит время: часто ли ему в его практике приходится сталкиваться с такими случаями, хорошо ли они описаны в медицинской литературе?.. Да, Свен не только меня обнадежит, в чем я отчаянно нуждался, но мне представится замечательный шанс обсудить все с коллегой, что сделает для нас обоих более ясной эту увлекательную проблему на стыке ортопедии и неврологии.

Эта перспектива так меня взволновала, что свой обильный завтрак я съел рассеянно, только подсознательно отметив замечательный вкус копченой селедки.

В должное время явилась старшая сестра.

— Посмотрите, какой беспорядок вы устроили, доктор Сакс, — добродушно упрекнула она меня. — Всюду разбросаны книги, письма, обрывки бумаги... и еще я вижу, что вы перепачкали простыню чернилами.

— Виновата моя ручка, — извинился я. — Иногда она подтекает.

— Ладно, после завтрака мы все приведем в порядок. Сегодня Большой Обход (сестра каким-то образом сумела подчеркнуть, что эти слова могут писаться только с заглавной буквы), и мистер Свен явится ровно к девяти.

С улыбкой, но все еще качая головой, она покинула палату.

«Хорошая она женщина, — подумал я, все еще преисполненный эйфории после копченой селедки. — Немного

суровая, немного придирчивая, но старшая сестра и должна быть такой. Она добродушная старуха, хоть и рычит и выглядит ужасно...»

Чайник у меня забрали, прежде чем я налил себе третью чашку; сестра Сулу принесла мне тазик и прошептала:

— Быстро! Брейтесь!

Я избавился от неопрятной шестидневной щетины — неужели всего шесть дней назад я отправился на Гору? — и подстриг бороду, почистил зубы и прополоскал рот.

Сестра Сулу помогла мне пересесть в кресло, застелила постель чистыми простынями и прибралась в палате. Потом она помогла мне снова улечься, говоря:

— Старшая сестра любит, когда пациенты опираются на подушки и лежат посередине кровати. Постарайтесь так и оставаться, не наклоняйтесь в сторону!

Я согласился следовать ее указаниям и попросил оставить дверь открытой, потому что до меня донеслись звуки уборки по всему отделению — звуки такие необычные, что мне захотелось слышать все более ясно. Старшая сестра рявкала на подчиненных — добродушно, но все же как сержант на солдат. Сестры и санитарки бегали туда-сюда, поспешно наводя порядок. Это производило полусерьезное, полукомическое впечатление подготовки к военному параду: сапоги начищены, пуговицы отполированы, грудь вперед, живот втянуть — все в готовности и сверкает.

Суматоха, крики и смех были довольно бурными. Я пожалел, что могу только слышать это, но не видеть. В этом переполохе все приобретало упорядоченное состояние под командой старшей сестры. Теперь я смотрел на отделение не столько как на парадный плац, сколько как на огромный корабль, готовящийся в плавание.

Неожиданно беготня и шум прекратились; на смену им пришла необыкновенная тишина. Я слышал только шепот, но разобрать ничего не мог.

И вот вошел Свен в сопровождении старшей сестры, которая несла поднос с хирургическими инструментами; за ними следовали старший врач и его подчиненные в длинных белых халатах. Последними появились студенты в коротких куртках. Формально и торжественно, как религиозная процессия, шеф и его свита проследовали в мою палату.

Свен не посмотрел на меня и не поздоровался; он взял мою карточку, висевшую в ногах кровати, и стал внимательно ее изучать.

— Так, сестра, — сказал он, — каково сейчас состояние

пациента?

— Сейчас лихорадки нет, сэр, — ответила она. — Мы удалили катетер в среду. Пишу принимает перорально. Отека ноги нет.

— Звучит прекрасно, — сказал Свен и повернулся ко мне, точнее, к гипсу на моей ноге и резко постучал по нему костяшками пальцев. — Что ж, Сакс, как сегодня нога?

— Похоже, все в порядке, сэр, — ответил я,

— хирургически говоря.

— Что вы имеете в виду — «хирургически говоря»?

— Ну... э-э... — Я посмотрел на старшую сестру, но ее лицо было каменным. — Нога не особенно болит, и отека нет.

— Прекрасно, — сказал Свен с явным облегчением. — Значит, никаких проблем, как я понимаю?

— Ну, одна все-таки есть... — Свен сурово посмотрел на меня, и я начал заикаться. — Дело в том... Мне не удается напрячь четырехглавую мышцу и... э-э... мускулы лишены тонуса. И еще... я испытываю трудности с определением положения ноги.

Мне показалось, что Свен испугался, но выражение испуга было таким мимолетным, таким ускользающим, что уверен в этом я быть не мог.

— Ерунда, Сакс! — сказал он резко и решительно. — Там все в порядке. Беспокоиться не о чем. Совершенно не о чем!

— Но...

Он поднял руку, как полисмен, регулирующий движение.

— Вы совершенно заблуждаетесь, — заявил он категорично. — С ногой ничего такого нет. Вы ведь понимаете это, не правда ли?

Решительно и, как мне показалось, с раздражением Свен двинулся к двери; его сопровождающие почтительно расступились перед ним.

Я попытался что-то понять по выражениям лиц членов команды, но они не сказали мне ничего. Вся процессия быстро покинула палату.

Я был ошеломлен. Все мучительные неуверенности и страхи, все страдания, которые я перенес с тех пор, как обнаружил свое состояние, все надежды и ожидания, которые я связывал с этой встречей, — и вот теперь такое! Я подумал: что же это за врач, что же это за человек? Он даже меня не выслушал. Не проявил никакой заинтересованности. Он не слушает своих пациентов — ему все равно. Он от них отмахивается, он их презирает, они для него ничто. А потом я подумал, что ужасно несправедлив к Свену. Я ненамеренно спровоцировал его, сказав «хирургически говоря». Кроме того, мы оба были в затруднительном положении из-за

формальности, официальности Большого Обхода. Оба мы в определенном смысле были принуждены играть роли: он — роль всезнающего специалиста, я — роль ничего не знающего пациента. Все еще обострилось и ухудшилось из-за того, что я был, рассматривался персоналом и отчасти вел себя как равный ему, так что ни один из нас точно не представлял себе нашего взаимного положения. И конечно, я мог быть уверен в том, что он на самом деле вовсе не бесчувственный, — я ведь заметил чувство, сильное чувство, которое он должен был подавить — в точности как мисс Престон, когда обнаружила денервацию. Насколько все было бы иначе, если бы мы встретились как индивиды... однако это было невозможно в мрачной ситуации Большого Обхода. Возможно, все было бы иначе, если бы я мог спокойно переговорить с врачом — как человек с человеком — после Большого Обхода.

III. Неизвестность

В страну мрака, каков есть мрак
тени смертной, где нет устройства,
где темно, как самая тьма.

Иов[17]

Скотому и ее последствия я уже испытал — устрашающие образы пустоты, которые вздымались и охватывали меня, особенно ночью. Крепостной стеной против этого, как я думал и надеялся, должны были стать искреннее понимание и поддержка моего доктора. Он меня ободрит, поможет, даст опору во тьме.

Однако вместо этого он сделал обратное. Ничего не объяснив, сказав «ерунда», он отнял у меня опору, человеческую поддержку, в которой я так отчаянно нуждался. Теперь у меня вдвойне не было ноги, чтобы на ней стоять, я вдвойне оказался в пустоте, в неизвестности.

Слово «ад» считается близким по смыслу слову «дыра» — и дыра, которой является скотома, действительно есть разновидность ада: экзистенциальное, метафизическое состояние, однако имеющее ясные органические основу и детерминанты. Органическая основа реальности устраняется, и в этом смысле человек падает в дыру — адскую дыру, если человек позволит себе это осознать (чего многие пациенты по понятным причинам с целью защиты не делают).

Скотома — это дыра в самой реальности, дыра во времени в не меньшей степени, чем в пространстве, а потому не может восприниматься как имеющая длительность или конец. Она имеет оттенок дыры в памяти, амнезии и несет с собой ощущение безвременности, бесконечности. Это качество безвременности, неопределенности неотъемлемо присуще скотоме.

Оно было бы выносимо, или по крайней мере более выносимо, если бы о нем можно было сообщить другим, стать предметом сочувствия и понимания, как когда испытываешь горе. В этом мне было отказано, когда хирург сказал «ерунда», так что я был погружен еще глубже в ад — в ад отказа от общения.

В этом есть тайное наслаждение — о надежности ада, как говорит дьявол в «Фаусте», не нужно сообщать, она защищена от разговоров, она не может быть сделана достоянием публики... Беззвучность,

забытость, безнадежность — лишь убогие слабые символы. Здесь все исчезает...

Меня охватило чувство полной безысходности.

Я чувствовал, что тону. Бездна поглощала меня. Хотя скотома имеет значение «тень» или «темнота» — и это обычные символы ужаса и смерти, — на меня сенсорно и духовно больше действовало безмолвие. Я все время вспоминал «Фауста», особенно строки, касавшиеся ада и музыки. Ни один человек не может слышать собственной мелодии, с одной стороны, но с другой — жуткий грохот ада... Это было буквальным выражением сути лишенной пространства палаты, камеры, в которой я лежал. Лишенный музыки, угнетенный шумом, я жаждал, отчаянно жаждал музыки, но мой маленький никчемный приемник не ловил ничего: стены здания, леса перед моим окном почти ничего не пропускали. И еще целый день стучали пневматические молотки — работа на лесах шла в нескольких футах от моих ушей. Таким образом, снаружи было отсутствие звуков и шум, а одновременно внутри царила мертвенная тишина — тишина безвременья, неподвижности, скотомы, соединившаяся с тишиной отказа в общении. Чувство отрезанности от внешнего мира, отлучения было предельным. Внешне я оставался любезным и покладистым, в то время как внутри меня пожирало тайное отчаяние.

Как писал Ницше, если вы смотрите в бездну, бездна смотрит на вас...

Бездна — это пропасть, бесконечный провал в реальности. Стоит вам ее заметить, и она может открыться под вами. Вы должны или отвернуться от нее, или посмотреть ей в глаза, смело и решительно. К добру это или к худу, но я очень настойчив. Обратив на что-то внимание, отвлечься я уже не могу. Такое качество есть и большая сила, и большая слабость. Оно делает меня исследователем. Оно делает меня одержимым. В данном случае оно сделало меня исследователем бездны...

Мне всегда нравилось смотреть на себя как на натуралиста или исследователя. Я изучал много неведомых неврологических земель — самые дальние арктические и тропические области неврологических нарушений. Но теперь я решил — или оказался вынужден? — исследовать страну, не изображенную ни на одной карте. Страна, раскинувшаяся передо мной, была ничейной землей, страной Нигде.

Все силы познания, интеллекта и воображения, раньше помогавшие мне в исследовании различных областей неврологии, были совершенно бесполезны и бессмысленны в этой неизвестности, в стране Нигде. Я выпал с карты, выпал из познаваемого мира. Я выпал и из пространства, и из времени. Больше никогда ничего не могло случиться. Интеллект, разум,

здравый смысл не значили ничего. Ничего не значили память, воображение, надежда. Я лишился всего, что раньше давало мне опору. Я волей-неволей вошел в темную ночь души.

Это означало, во-первых, огромный страх — я должен был отказаться от всех сил, которыми нормально обладал. Прежде всего я должен был отказаться от чувства, от аффекта активности. Я должен был допустить — что казалось ужасным — ощущение пассивности. Сначала я нашел это унизительным смирением себя — активного, мужественного, решительного, каким я видел себя в своей науке, обладающего самоуважением, разумом... а потом каким-то таинственным образом я начал меняться — допускать и приветствовать этот отказ от активности. Начал я замечать эту перемену на третий день неизвестности.

Душе потерянной, смущенной, погруженной во тьму долгой ночи, не могли помочь ни карта, ни разум, способный карту начертить. Не было пользы и от темперамента картографа — «сильного, мужественного, предприимчивого, бдительного и активного» (как писал современник о капитане Куке). Эти качества могли пригодиться позднее, но в данный момент их не к чему было приложить. Мое состояние во тьме ночи было состоянием пассивности, интенсивной, абсолютной, решающей пассивности, при которой действие — любое действие — было бесполезным и отвлекающим. Моим девизом в это время стало «Быть терпеливым и выносливым, ждать. Ничего не делать, не думать». Какой же трудный, какой парадоксальный это был урок!

> Храни молчанье, жди без надежды,
> Ибо надежда будет надеждой не на то;
> Жди без любви, ибо и любить ты будешь не то.,.
> Жди и не думай — осмыслить ты не готов.
>
> *Элиот*

Я должен был хранить молчание и ждать в темноте, ощущать ее как святыню, как темноту Бога, а не просто как слепоту и утрату (хотя, несомненно, она их предполагала), Я должен был молча согласиться, даже порадоваться тому, что мой разум смущен, а силы и способности не имеют приложения к действию и не могут влиять на изменение моего состояния. Я к такому не стремился, но так случилось, и мне следовало это принять — принять странную пассивность и ночь, эту странную скотому чувств и разума, без гнева, без страха, но с радостью и благодарностью.

Так и произошла перемена, поразившая меня на третий день

пребывания в неизвестности, когда я перешел от чувства омерзения и отчаяния, заточения в чудовищном, невыразимом аду к чувству чего-то совершенного, таинственно иного: ночь больше не была отвратительной и темной, она стала сияющей, полной тайного света, не улавливаемого чувствами, и с этим пришла странная, парадоксальная радость.

> В ночной тиши, по черной лестнице, тайком —
> счастливый шанс!
> Во тьме, уединении, покое стоит мой дом.
> Счастливой ночью, втайне ото всех,
> Ведомая лишь светом от пожара,
> что горел в моей груди,
> Тем светом, что яснее солнца в яркий полдень,
> Я шла к Нему. Он ждал меня...
>
> *Хуан де ла Крус*[18]

Я всегда думал, гордясь своим разумом, что все, чего стоит достигать в жизни, может быть достигнуто разумом и волей, теми самыми «силой, мужеством, предприимчивостью, бдительностью и активностью», которые раньше отличали мои предприятия. Теперь, впервые, возможно, в жизни, я почувствовал — был вынужден почувствовать — нечто совершенно иное; почувствовал в терпении, в полнейшей пассивности и понял, что в тот момент это было единственное уместное отношение к происходящему.

В социальном смысле я должен был вести себя активно и по-взрослому, ограничиваться елико возможно малой зависимостью от других, но духовно — не в общественном плане, а внутри себя — я должен был отказаться от всех своих сил и претензий, от всей моей взрослой предприимчивости и активности, стать подобным ребенку, терпеливым и пассивным, погрузиться в долгую ночь: таково было в тот момент единственное должное состояние моей души. Я должен был ждать в безмолвии, ибо Он ждал меня...

Пилот самолета, грубовато-сердечный и добродушный, полный предприимчивости, решительности, мужского здравого смысла, — даже он сказал: «Первым делом, став пациентом, нужно научиться терпению»; а еще раньше, пока я находился в больнице, один из медиков, видя мое беспокойство, раздражительность, нетерпение, мягко посоветовал: «Смотрите на вещи легко! Все это на самом деле путь пилигрима».

Таким образом, неизвестность, которая длилась лишенные времени десять дней, началась как пытка, но превратилась в терпение; началась как ад, но превратилась в очистительную

темную ночь; научила меня ужасному смирению, отняла надежду, но затем нежно вернула ее — преобразованную и в тысячекратном размере.

В неизвестности, когда я странствовал к отчаянию и обратно — это было странствие души, потому что медицинские обстоятельства не менялись, замерев в неподвижности скотомы, — между моими врачами и мной возникло достаточно сердечное согласие насчет того, что не следует упоминать «более глубокие вещи»; в этой неизвестности, в этой темной ночи я не мог обратиться к науке. Столкнувшись с реальностью, которую разум не мог объяснить, я обратился за утешением к искусству и религии. Они и только они могли окликнуть меня сквозь ночь, могли общаться со мной, могли сделать более понятными и приемлемыми слова Ницше о том, что искусство не дает нам уклониться от истины.

Наука и разум не могли говорить о «ничто», об аде, о неизвестности или духовной ночи. Они не отводили места отсутствию, темноте, смерти, которые были всеобъемлющей реальностью того времени. Я обратился к Библии, в особенности к псалмам, потому что они постоянно говорили об этих вещах и о таинственном возвращении к свету и жизни. Я обратился к ним как к описаниям, как к своего рода историям болезни, но одновременно и как к источнику надежды, с чем-то вроде молитвы или заклинания. Я обратился к мистике и к поэтам-метафизикам, потому что они тоже предлагали формулировки и надежду — поэтическую, эстетическую, метафорическую, символическую, без тупой простой приверженности, свойственной религии.

> Меня узнайте, изучите и узрейте,
> Влюбленные грядущих мира и весны.
> Я умер, и теперь Его любовь,
> Как в каждом, кто ушел, творит во мне
> из нечто что-то вновь.
> Я уничтожен Им, и вот я снова возрожден
> Из темноты, из смерти, пустоты — из ничего.
>
> *Джон Донн*[19]

Ода Донна зимнему солнцестоянию, написанная в середине зимы жизни, донесла до меня тягостность и надежду мертвой души. Я часто повторял ее, особенно последние строки: «Разъят я был, но, вновь меня создав, смерть, бездна, тьма сложились в мой состав». А иногда только «вновь меня создав»... Я повторял их как

своего рода литанию или монолог. Я привлекал их к себе все ближе и ближе, потому что они, казалось, намекали на некий секрет, невозможную надежду там, где я не видел оснований надеяться.

Однако наконец метафизики и мистики были отложены в сторону, и осталось только Писание, невозможная вера: «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня»[20].

Втайне, наполовину скептически, неуверенно, страстно желая, я обратился к этому невообразимому «Ты».

IV. Первые движения

Но какими средствами, какими инструментами может животное оказаться движимо внутренними принципами? Сравним с автоматами... Не является ли первым инструментом движения дух или природные причины — как движение сердца?

Вильям Гарвей[21]

На протяжении этих десяти бесконечных, ничем не наполненных дней нога сама по себе не изменилась ни на йоту; в своем белом гипсовом саркофаге она оставалась совершенно неподвижной, лишенной тонуса, бесчувственной. Ее абсолютная неподвижность и неизменность, ее замещение, так сказать, неорганическим белым цилиндром, ее безжизненность, окаменелость, обызвествленность бесчисленное число раз являлись мне каждую ночь. Мои сновидения тоже не изменились ни на йоту; они сохраняли ту же эйдетическую живость диаграммы, то же отсутствие всякого движения и событий, ту же мертвенность, какие имели место при их первом появлении.

Сама идея какого-либо прогресса, какой- либо перемены, какой-либо намек на надежду постоянно аннулировались до утра следующей субботы. Вот какую запись я сделал в своем дневнике:

«Новые феномены в связи с ногой. Неожиданные чрезвычайно сильные и невероятно короткие вспышки боли где-то в ноге, подобные стробоскопическим вспышкам света в своей ослепительной интенсивности и кратковременности. Похоже на удар молнии... Такая боль совершенно потрясает человека, пока длится, однако длится она всего тысячную долю секунды. Я гадаю насчет физиологии этих необычных вспышек боли. Что, черт возьми, происходит?

меня также появились непроизвольные мгновенные подергивания в ранее инертных и безмолвных мускулах. И подергивания, и вспышки боли почти спинальны по качеству, как будто в них участвуют изолированные сенсорные или моторные клетки... Они вызывают двоякое чувство — отчасти страх, отчасти надежду, будучи, несомненно, патологическими. Их характер указывает на то, что имеет место истинная денервация. Однако само их появление, возможно, служит знаком возвращения

иннервации.

Пока еще произвольные движения немыслимы, однако эти невольные вспышки, возможно, первые искры жизни и могут указывать на то, что мускулы готовятся реагировать...»

Эти сокращения мышечных волокон, вовсе не потайные, а вполне для всех заметные, представляли собой первое положительное изменение с того момента, как я оказался в больнице. Эти искры и вспышки служили символом и залогом неврологического выздоровления, знаком того, что некоторая возбудимость, некоторая жизнь возвращается к поврежденной две недели назад нервно- мышечной ткани. Они давали мне ощущение явной электрической активности, чего-то вроде спонтанной «фарадейзации» или бликов, вспыхивающих в нервно-мышечной ткани, — электрического зажигания запаздывающей искры жизни...

Я испытывал сильное ощущение электрической бури — молниеносных вспышек, перескакивающих с одного волокна на другое, электрического потрескивания нервно- мышечной ткани. Я невольно уподоблял себя чудовищу Франкенштейна, подсоединенному к источнику электричества и с потрескиванием и вспышками пробуждающемуся к жизни.

Тогда, в субботу, я почувствовал себя наэлектризованным; точнее, я ощутил, что какая-то маленькая периферийная часть нервной системы оживает благодаря электрическим импульсам — не я сам, но... Я не играл никакой роли в этих местных непроизвольных вспышках и спазмах. Они не имели ко мне, к моей воле никакого отношения. Им не соответствовали намерения — ни волевые акты, ни представления о движении. Они не пробуждались и не стимулировались какой-либо идеей или намерением; тем самым они не передавали никакого личностного качества, были непроизвольными, были не действиями, а просто спорадическими вспышками на периферии, Тем не менее они служили несомненным, важнейшим и страстно желанным свидетельством того, что пострадавшие ткани начинали проявлять некоторый возврат к функционированию — ненормальному, судорожному, в виде пароксизмов, — но любое функционирование было лучше, чем никакого.

На протяжении всего периода неизвестности я жаждал музыки, но все мои попытки ее получить были безуспешны. К середине недели мне осточертел мой негодный приемник, и я попросил друга принести мне плейер — и музыку. Утром в субботу — ту самую субботу, седьмого, — он доставил мне плейер с одной кассетой, извинившись за то, что она — единственная, которую он смог найти. Это был скрипичный

концерт Мендельсона.

Я никогда особенно Мендельсона не любил, хотя отдавал должное живости и изысканной легкости его музыки. Меня поразило (и продолжает поражать) то, что эта очаровательная, но пустая пьеса оказала на меня такое глубокое и, как оказалось, решающее воздействие. С того момента, как зазвучала музыка, с первых же тактов концерта что-то случилось, что-то, чего я стремился и жаждал достичь, что-то, чего я с каждым проходящим днем искал все более отчаянно, но что не давалось мне. Неожиданно и чудесно музыка тронула меня. Музыка казалась страстно, изумительно, трепещуще живой — и передала мне сладкое чувство жизни. С первыми тактами я ощутил надежду и намек на то, что жизнь вернется в мою ногу, что она пробудится, вспомнит или воссоздаст забытую мелодию движения. Я чувствовал... но как неадекватны слова для такого рода чувств! Я чувствовал, что с этими первыми божественными звуками оживляющие творческие основы мироздания открылись мне, и сама жизнь — это музыка или созвучна ей, а наша живая подвижная плоть есть материальная музыка, музыка в телесном воплощении. В каком-то глубоком, страстном, почти мистическом смысле я чувствовал, что музыка в самом деле может излечить мои увечья — или по крайней мере стать необходимым ключом к этому.

Я снова и снова проигрывал концерт. Я не уставал от этого; ничего другого мне не хотелось. Каждое прослушивание освежало и обновляло мой дух и словно открывало новые пространства. Не является ли музыка самой сердцевиной жизни — ключом, обещанием обновленных действий?

Суббота и воскресенье стали днями надежды; ощущение обреченности, беспредельной тьмы исчезло. Я чувствовал — не рассвет, но первые намеки на него; все еще стояла середина зимы, но весна, возможно, придет. Как это случится, я не знал — это невозможно было постичь, это не была задача, поддающаяся решению или хотя бы предполагающая подходы к нему с помощью догадок или размышлений. Я стоял не перед проблемой, а перед загадкой — загадкой нового начала и возрождения. Возможно, так и должно было быть: им должны были предшествовать бесконечные темнота и безмолвие. Возможно, это было лоном, лоном ночи, в котором зарождалась новая жизнь.

В эти дни я испытывал не только избавление от безнадежности, но и странную легкость и радостность духа. Возникло чувство возможного выздоровления; во мне росло ощущение обновления.

Каждый раз, когда я слушал Мендельсона — на плейере или в уме, и каждый раз, когда происходил неожиданный электрический спазм мускулов, мной снова овладевал этот дух надежды. Да, моя надежда была в определенном смысле теоретической — было неясно, есть ли мне на что надеяться. Я все еще думал о ноге, о плоти как о «конченых». Что значила музыка, что значили эти прекрасные чувства, если у меня не было механизма, аппарата, телесности? Мне отчаянно хотелось увидеть ногу — увидеть, что она обладает материальностью, плотью, реальностью, существует на самом деле. Мне повезло: время пришло, и на следующий день это должно было случиться.

Утром в понедельник, на четырнадцатый день после операции, меня должны были отвезти в процедурную для осмотра раны и снятия швов. За эти две недели, даже более того — с момента несчастья я на самом деле не мог видеть свою ногу: она всегда была чем-то прикрыта или заключена в гипс. Что-то такое было в гипсе — его гладкая безликость, его белизна саркофага, его форма, представлявшая собой смутную непристойную пародию на ногу, что делало его источником ужаса; в этом качестве он играл важную роль в моих сновидениях.

В ночь перед тем, как гипс должен был быть снят, эти сновидения достигли устрашающей вершины; я спал, на короткое время пробуждался, снова засыпал и видел те же сны — сотни раз гипс снился мне пустым и полым, сплошной твердью или наполненным мерзкой, кишащей червями массой костей и гноя. Исчезли мендельсоновская радость и веселье. Когда забрезжил серый рассвет понедельника, меня бил озноб, я был слишком слаб, чтобы позавтракать или сказать что-то, даже чтобы думать. Я лежал в постели, как труп, и ждал, когда меня вынесут.

Само название «процедурная» звучало мрачно и пугающе. Слово «гипс» обрело другие, вызывающие беспокойство значения. Я обнаружил, что мне являются незваные образы — процедурной, где создаются новые конечности и тела, а старые выбрасываются. Подобные фантазии врывались в мой разум, и я был бессилен избавиться от них, какими бы абсурдными они ни были.

Когда за мной пришли санитары, уложили на каталку и вывезли из палаты, это принесло облегчение, но одновременно и страх. Прочь из палаты! Впервые за пятнадцать дней... Я заметил проблеск неба в окне, пока мы дожидались лифта. Небо! Я забыл его, забыл внешний мир, лежа в своей маленькой, лишенной окон келье, в одиночном заключении, возбужденный, одержимый, с кипящим мыслями умом. Стук колес каталки казался чудовищно громким и напомнил мне гул самосвала; возникло чувство, что меня везут на смерть или — еще хуже — на реализацию

чудовищного кошмара, где осуществятся все мои жуткие, мертвенные, нереальные сновидения. Процедурная была комнатой маленькой, белой, невыразительной и располагалась между операционной и мастерской, с развешанными по стенам ножницами и другими инструментами — странными и пугающими. Санитары переложили меня на стол в центре — что-то среднее между катафалком и колодой мясника — и вышли, закрыв за собой дверь. Я неожиданно остался один в этой жуткой безмолвной комнате.

И тут я обнаружил, что нахожусь не в одиночестве. В углу стоял лаборант в белом халате. Я каким-то образом не заметил его, когда меня сюда привезли, или, может быть, он вошел незаметно для меня. Казалось, он не двигается, а внезапно материализуется в различных частях комнаты; он был тут, он был там, но мне ни разу не удалось заметить его в движении. У него было странно неподвижное, словно высеченное из камня лицо, похожее на средневековый рисунок. Это мог бы быть портрет работы Дюрера или маска горгульи, рожденная воображением художника.

Я в своей лучшей светской манере сказал:

— Здравствуйте, мистер Энох. Странная сегодня погода.

Он никак мне не ответил — не пошевелился, глазом не моргнул. Я сделал еще несколько бессвязных замечаний и в конце концов умолк, потому что он, ничего не отвечая, по-прежнему неподвижно стоял в углу, сложив руки на груди, и смотрел на меня. Я обнаружил, что все больше лишаюсь присутствия духа: мне пришла в голову мысль о том, что он может быть безумен.

И тут неожиданно, без всяких промежуточных движений, он оказался уже не в углу, а у стены, где висели ножницы и другие инструменты. С молниеносной скоростью ножницы очутились у него в руках. Они показались мне чудовищно огромными, да и сам мистер Энох выглядел немаленьким. Я почувствовал, что он одним движением может отрезать мне ногу или рассечь меня пополам.

Одним рывком он навис надо мной, широко раскрыв ножницы для первого разреза. Мне хотелось завопить: «На помощь! Кто-нибудь! На меня напал безумец с парой ножниц!» Разум говорил мне, что это все фантазия, что мистер Энох может быть несколько странным и молчаливым, но, несомненно, является умелым и ответственным специалистом... Так что я взял себя в руки, улыбнулся и не сказал ни слова.

И тут я услышал обнадеживающий звук — тихое поскрипывание, когда гипс начал поддаваться. Никакого ужасного нападения не было! Мистер Энох спокойно делал свое

дело. Он разрезал гипс сверху донизу и осторожно раскрыл его, высвободив ногу. Гипсовую повязку он небрежно отбросил в угол. Это меня поразило: я воображал себе, что она ужасно тяжелая — сорок или пятьдесят фунтов по крайней мере. Друзья, по моей просьбе приподнимая обе ноги, сказали: «Черт возьми! Эта, которая в гипсе, тонну весит — по меньшей мере на сорок фунтов тяжелее, чем другая!» Судя по тому, как мистер Энох поднял гипс и кинул его в угол, он явно почти ничего не весил, и мертвая тяжесть ноги, те лишние сорок фунтов, была исключительно следствием полного отсутствия мышечного тонуса — того нормального, обеспечивающего осанку тонуса, который наличествует даже при глубочайшем расслаблении или во сне. Мистер Энох отступил от стола или, точнее, внезапно исчез и столь же неожиданно возник в своем углу, еле заметно загадочно улыбаясь.

Теперь в процедурную ворвались старшая сестра и врач из хирургического отделения, улыбаясь и болтая, как будто ничего не случилось — совсем ничего.

Сестра сказала, что собирается снять швы, но вмешался врач:

— Разве вы не хотите посмотреть на свою ногу? В конце концов вы не видели ее больше двух недель!

Хотел ли я? О, несомненно, страстно и жадно, и все же я боялся и колебался, не зная, что увижу; к этим противоположным чувствам примешивалась странная бесчувственность — сорт безразличия, настоящего или защитного, так что меня едва заботило то, что я увижу.

С помощью врача я приподнялся, опираясь на одну руку, и бросил долгий, долгий взгляд на ногу.

Да, она была на месте! Несомненно, была на месте! Гипс не был ни пустым, ни сплошным, как я опасался; не содержал он и массу земли, навоза или гниющих костей. Гипс содержал ногу примерно нормальных размеров, хотя и сильно исхудавшую по сравнению с другой; на ней был аккуратный шов длиной примерно в фут. Нога — и все же не нога: что-то с ней было совершенно неправильно. Я испытывал глубокое облегчение и одновременно беспокойство и шок. Нога хоть и была на месте, все же ее на самом деле там не было.

Да, она была на месте в формальном, фактическом смысле, на месте визуально, но не жизненно, не прочно, не в действительности. Это была не реальная нога, вообще не реальная вещь, а просто лежащая передо мной копия. Меня поразило прекрасное, почти прозрачное изящество конечности и ее абсолютная поразительная нереальность. Она была изысканной и безжизненной, как искусно выполненная восковая

модель из анатомического музея.

Я нерешительно протянул руку, чтобы коснуться ее, — и ощущение оказалось таким же сверхъестественным и двусмысленным, как и вид. Нога не только выглядела, как восковая, она была такой и на ощупь — прекрасно вылепленной, неживой, призрачной. Нога не чувствовала прикосновения моих пальцев, так что я стиснул ее, ущипнул, выдернул волосок. Я мог бы вонзить в нее нож, и все равно она ничего бы не почувствовала. Совершенно никакой чувствительности — я мог бы сжимать и тискать безжизненное тесто. Мне было ясно: я имел ногу, выглядевшую анатомически совершенной, которую искусно починили и вылечили без осложнений, однако она выглядела и ощущалась устрашающе чуждой — безжизненной копией, прикрепленной к моему телу. Я снова подумал о молодом человеке, которого видел в тот давний канун Нового года, о его бледном испуганном лице, о том, с каким ужасом он прошептал: «Это просто подделка. Она не настоящая. Она не моя».

— Что ж, — сказал врач, — вы выглядите достаточно мужественным. Что вы думаете о своей ноге? Мы славно поработали, верно?

Да, да, — ответил я, в растерянности пытаясь собраться с мыслями. — Замечательная работа, прекрасная, просто прекрасная. Я от души благодарю и поздравляю вас. Но...

— Что за «но»? — спросил он с улыбкой.

— Выглядит чудесно — чудесно, хирургически говоря.

— Что вы хотите сказать — «хирургически говоря»?

— Ну... она чувствуется как-то неправильно. Она чувствуется... как-то странно, не так, как следует, не как моя. Это трудно выразить словами.

— Не беспокойтесь, старина, — сказал врач. — Все сделано на «отлично». Вы будете как огурчик. А теперь сестра снимет швы.

Сестра со своим подносом с блестящими инструментами подошла, говоря:

— Будет не очень больно, доктор Сакс. Вы, может быть, почувствуете только, как я дергаю. Если станет больно, можно сделать местное обезболивание.

— Приступайте, — ответил я. — Если станет больно, я скажу.

Однако, к моему удивлению, она почему-то не приступила, а стала возиться со своими ножницами и пинцетами — возиться странным и непонятным образом. Я некоторое время растерянно наблюдал за ней, а потом закрыл глаза. Когда я их открыл, она прекратила свои недобросовестные манипуляции, которые, как я подумал, должны были быть чем-то вроде разминки или

подготовки. Теперь, как я решил, она была готова снять швы.

— Собираетесь начать? — поинтересовался я.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Начать?! — воскликнула она. — Я же как раз закончила! Я сняла все швы. Должна сказать, держались вы замечательно — лежали спокойно, как ягненочек. Вы, должно быть, настоящий стоик. Больно было не особенно?

— Нет, — ответил я. — Больно не было совсем. И я совсем не храбрый. Я просто ничего не чувствовал. Я совсем не ощутил, как вы вытаскивали нитки. —

Я не стал говорить, подумав, что это прозвучало бы странно, о том, что я совершенно не понял, что она снимает швы, не понял, что она делает, и вообще не отнес ее действия к себе: все ее движения я счел бессмысленными манипуляциями. Однако я был смущен, сбит с толку всем произошедшим. Оно еще раз показало мне, какой чуждой стала нога, какой «изгнанницей». Только подумать: я видел, как сестра делала все характерные движения, сопровождающие разрезание и выдергивание ниток, но только предположил, что она «разминается» перед настоящим делом! Ее действия казались бессмысленными, нереальными, потому что нереальной и бессмысленной ощущалась нога. И поскольку бесчувственной была нога, бесчувственной во всех смыслах, абсолютно бессмысленной и со мной никак не связанной, такими же были и движения сестры, обрабатывавшей ногу. Раз нога была всего лишь подделкой, то подделкой казались и действия сестры: и то и другое представлялось бессмысленным подобием чего-то настоящего.

Обнаружив, что мои ужасные страхи и фантазии были необоснованными, что нога по крайней мере формально цела и наличествует, обнадеженный тем, что, когда мистер Энох спустил мою пятку со стола, колено согнулось правильно, как положено, ужас отсутствия колена, дислокации, дезартикуляции исчез, и я неожиданно испытал неизмеримое облегчение, облегчение такое сладкое и интенсивное, пронизывающее все мое существо, что буквально окунулся в блаженство. Благодаря этому восхитительному всеобъемлющему утешению, неожиданной полной перемене настроения совершенно преобразилась, трансформировалась и нога. Она все еще казалась совершенно чужой и нереальной, все еще совершенно неживой, но если раньше она заставляла думать о трупе, то теперь вызывала мысли о еще не рожденном плоде. Нога выглядела полупрозрачной и невинной, как плоть, в которую еще не вдохнули жизнь.

По крайней мере теоретически плоть была на месте, анатомически исцеленная, только еще не приведенная в действие.

Нога лежала терпеливая, сияющая, еще не обретшая реальность, но почти готовая к тому, чтобы родиться. Чувство ужасной невосполнимой потери преобразовалось в чувство таинственной приостановки. Нога лежала в странном подвешенном состоянии, в неопределенности, в загадочной области между смертью и рождением...

> Между двумя мирами — одним мертвым
> И другим — бессильным родиться.
>
> *Арнольд*

Плоть, которая была все еще неживой, как мрамор, но которая, как мраморная плоть Галатеи, могла ожить. И даже новый гипс играл роль в этом чувстве: старый я ненавидел, считая его грязным и непристойным, но немедленно проникся симпатией к новому, который аккуратно накладывал мистер Энох — слой за слоем вокруг моей новой розовой ноги. Эту гипсовую повязку я счел элегантной, хорошей формы, даже модной. Более важным было то, что я видел в ней что-то вроде благотворной куколки, которая защитит ногу и позволит ей полностью развиться — пока ей не придет время вылупиться, время родиться заново.

Когда меня повезли обратно из процедурной к лифту, мы помедлили у широкого окна, распахнутого, чтобы дать доступ свежему воздуху. Раньше нависали темные тучи, теперь же гроза прошла, и небеса стали божественно спокойными и ясными. Я чувствовал, что стихии пережили кризис в тот же самый момент, что и я. Теперь все разрешилось, небо сияло чистой синевой. Через большие окна влетал свежий ветерок, и я буквально опьянел, когда солнце и ветер коснулись моего лица. Это было мое первое соприкосновение с внешним миром за более чем две недели, две недели, в течение которых я гнил, погруженный в отчаяние, в своей камере. И еще, когда я вернулся в свою палату, была музыка — новый приемник, и это тоже, как и солнце, ветер, свет, божественно освежило мои чувства. Я чувствовал себя погруженным в музыку, пронизанным ею насквозь, исцеленным музыкой — духом и посланцем жизни.

Избавившись от всех своих тревог и напряжения, уверенный в том, что нога вернется, я поправлюсь и буду ходить снова — хотя когда и как, только Бог знает, — я внезапно глубоко и блаженно уснул: это был сон доверия в объятиях Бога. Глубокий, глубокий сон был сам по себе целителен; первый настоящий отдых со времени моего несчастья не прерывался пугающими

сновидениями и фантомами. Это был сон невинности, прощения, веры и обновленной надежды.

Проснувшись, я испытал странное поползновение поднять свою левую ногу — ив тот же момент сделал это! Такое движение раньше было невозможно, оно предполагало активное сокращение четырехглавой мышцы — совершенно невозможное и немыслимое! И тем не менее в мгновение ока я подумал о нем и совершил его! Не было замысла, не было подготовки, не было намерения — ничего такого, никакой попытки; возник яркий, как вспышка, импульс — и я молниеносно на него откликнулся. Идея, импульс и действие слились воедино — я не мог бы сказать, что возникло первым. Я неожиданно «вспомнил», как двигать ногой, и в тот же момент это осуществил. Я внезапно обнаружил, что знаю, что делать, — и сделал. Знание того, что делать, не имело никакого теоретического качества — оно было исключительно практическим, немедленным — и влекущим. Оно пришло ко мне без какого- либо предчувствия или предупреждения, без всяких расчетов или замысла с моей стороны. Неожиданно и спонтанно — как гром с ясного неба.

В возбуждении я позвонил и вызвал сестру.

— Посмотрите! — воскликнул я. — Мне удалось, я могу это сделать!

Однако когда я попытался показать ей свое достижение, ничего не случилось. Знание, импульс исчезли так же, как возникли — неожиданно и таинственно. Подавленный и озадаченный, я вернулся к своей книге — и примерно через полчаса, снова непрошено и непредумышленно, возник тот же импульс. Все это — импульс, идея, воспоминание — вернулось, как вспышка, и я двинул ногой (если «двинул» — слово, не чересчур говорящее о намерении; движение было совершенно ненамеренным, спонтанным: оно просто случилось). Однако через несколько секунд оно снова стало для меня невозможным. Так оно и шло на протяжении этого дня: способность к движению, идея движения, импульс неожиданно приходили ко мне — и так же неожиданно исчезали, как слово, лицо, имя или мелодия могут вертеться на кончике языка или быть на виду или на слуху — и тут же неожиданно пропадать. Силы возвращались, но все еще были нестабильными, не зафиксированными твердо в моей нервной системе или сознании. Я начинал вспоминать, но воспоминание приходило и уходило. Неожиданно оказывалось, что я знаю — и тут же перестаю знать, как страдающий афазией знает и тут же не знает слова.

Мне спонтанно вспомнился термин «идеомоторный». Вспышки, которые случались до сих пор, были просто

моторными, фрагментарными спазмами и подергиваниями раздражимой нервно-мышечной ткани, без соответствия какому-либо внутреннему импульсу, идее или намерению. Они не имели ко мне никакого отношения — в то время как новые импульсы, напротив, непроизвольные, спонтанные, незваные, несомненно, по сути фундаментально меня касались: они были не просто «мускульными прыжками», они касались меня, моего разума не меньше, чем тела. Они соединяли мои разум и тело, они иллюстрировали их основополагающее единство — единство, которое было утеряно со времени моего увечья.

Мне вспомнились слова хирурга: «Вы разъединились. Мы вас соберем. Вот и все». То, о чем он говорил в чисто локальном анатомическом смысле, имело, как я теперь понял, гораздо более широкое (пусть и ненамеренное) значение, то значение, в котором Э.М. Форстер говорит: «Только соберем». Разъединены были не только нервы и мускулы, но, как следствие этого, естественное внутреннее единство тела и разума. Воля была расшатана точно так же, как нервы и мышцы. Дух пострадал точно так же, как тело. Оба были расколоты и отделены друг от друга. И поскольку тело и душа не могут существовать отдельно, они оказываются бесчувственными, когда разъединены. Значит, при тех идеомоторных вспышках возникает мгновенное воссоединение, даже если оно длится не дольше доли секунды, — конвульсивное воссоединение тела и души.

Но моя способность управлять ногой была ограничена единственным довольно стереотипным движением бедра — а что это за воля, если в ее репертуаре одно движение? К тому же движение всегда сопровождалось импульсом, побуждением странно навязчивого и неуместного сорта. Во время чтения, посередине фразы, когда мой ум был поглощен совершенно другим, неожиданно возникал этот не допускающий возражений специфический импульс. Я его приветствовал, наслаждался и играл с ним — и наконец освоил. Однако волевое усилие и действие носили весьма странный характер, и их результат оказывался своеобразным гибридом — наполовину конвульсией, наполовину поступком.

В последнее время я получал — как хирург изначально предлагал для четырехглавой мышцы — электрическую стимуляцию поврежденных мускулов шеи. Каждый раз, когда ток возбуждал трапециевидную мышцу шеи, я испытывал неожиданный импульс выразительно пожать плечами, как бы говоря: «Ну и что?» Мне приходило в голову пожать плечами, как это может прийти в голову любому, за тем исключением, что это происходило только тогда, когда стимулировалась

трапециевидная мышца. Я находил это переживание занятным и завораживающим, но также и несколько шокирующим, потому что оно очень ясно показывало, что человек может испытывать ощущение или иллюзию свободной воли, даже когда импульс изначально имеет физиологическую природу. В таких случаях на самом деле человек оказывается не более чем марионеткой — вынужденной действовать, но полагающей, что делает это по доброй воле. Именно это, как я теперь решил, происходило при странных полу-конвульсивных псевдодобровольных сокращениях. Думаю, возникали случайные искры, разряды в выздоравливающем нервно- мышечном аппарате, который бездействовал и, возможно, находился в состоянии шока предшествующие пятнадцать дней. В выходные дни эти разряды были очень маленькими, очень локальными и вызывали лишь небольшие фасцикуляции или вспышки в отдельных пучках мышечных волокон. Ко вторнику начались конвульсивные множественные скачки всей мышцы (включая тазовое прикрепление), в результате которых дергалась вся нога. Эти сильные сокращения, подобно сильным сокращениям ночного миоклонуса, или тику, или сильным сокращениям трапециевидной мышцы под действием электрического тока, создавали что-то вроде короткого замыкания, служившего стимулом для всей системы произвольных действий. Несомненно, человек не может в значительной мере активизировать мускулы, как бы механически или непроизвольно это ни происходило, без стимуляции (или симуляции) усилия воли.

Возможно, нужно различать различные типы воли — пассивно-принудительный или активнопреднамеренный, — однако управлять пассивно-принудительным человек может. Таким образом, подергивания марионетки или принуждения в течение дня превратились в активные, контролируемые волевые акты. Возбудимая иннервация, возвращаясь к жизни, обеспечила собственные электрические разряды; они, в свою очередь, привели к конвульсивно-принудительным, подобным тику, движениям ноги, а уже те — к настоящим действиям, вызванным усилием воли.

Все это было в определенном смысле противоположно скотоме. Там, как мне казалось, я желал — и ничего не происходило, так что я был вынужден странно сомневаться и спрашивать себя: «А желал ли я? Есть ли у меня воля? Что случилось с моей волей?» Теперь же неожиданно, непрошено как гром среди ясного неба я испытывал внезапное принуждение, конвульсию воли.

И все же по иронии судьбы апатия и полное безволие были

именно теми средствами, которые привел к выздоровлению. Физиологический несчастный случай, увечье лишили меня воли — специфически и исключительно в отношении пострадавшей конечности, а теперь другая случайность физиологии — искры возвращающейся иннервации служили для того, чтобы снова разжечь волю относительно этой конечности. Сначала я был лишен воли, не способен командовать, я подчинялся командам, как марионетка, а теперь наконец я мог перехватить вожжи и сказать: «Я желаю» (или «Я не буду»), с полной убежденностью хотя бы в единственном деле — движениях ноги.

Среда одиннадцатого была особым днем — тем днем, когда мне было предназначено подняться, встать и идти. Впервые со времени моего несчастья я должен был принять вертикальное положение — а распрямление есть явление моральное, экзистенциальное не в меньшей степени, чем физическое. Две недели я был вдвойне распростертым, поверженным — физически из- за слабости и неспособности стоять и морально из-за пассивности, положения пациента, человека покорного, зависящего от своего врача.

Пассивность пациента длится столько, сколько скажет врач, и переход к активности трудно себе представить до самого момента подъема. А этот момент нельзя предвидеть и даже подумать о нем, даже надеяться на него. Человек не способен видеть, не способен постичь что-то за пределами своей постели. Ментальность пациента делается исключительно ментальностью постели — или могилы.

До самого момента подъема кажется, что подняться не суждено никогда, что человек обречен (так он это ощущает) на вечную поверженность.

«Я не могу подняться с постели, пока мне не поможет врач, не могу я и решить, что могу подняться, пока он мне этого не скажет. Я ничего с собой не делаю, я ничего о себе не знаю».

И если это было так для Донна, если это так для каждого пациента, обреченного лежать в постели («жалкая и нечеловеческая поза, хотя и общая для всех людей»), насколько же серьезнее было это для меня, учитывая странный специфический характер моего поражения, чувство ампутации, безногости, лишения способности стоять...

Подняться, стоять, идти — главная задача для каждого лежачего пациента, потому что он забыл или ему «запрещены» взрослая человеческая поза и движения, то физическое и моральное положение, которое означает способность стоять, способность постоять за себя, способность идти или уйти — уйти от врача или родителей, уйти от тех, от кого человек зависит и на

кого полагается, ходить свободно, смело, идти навстречу приключениям, если он этого пожелает.

К этим универсальным положениям были добавлены специфические — то обстоятельство, что я стал подвергать сомнению собственную целостность, само существование своей ноги; у меня возникла странная неуверенность: а было ли увечье? Особые, чрезвычайные сложности существуют для тех, кто не просто лежачий больной, а повредил ногу; они с точностью и красочно описаны Гиппократом две с половиной тысячи лет назад. Говоря о пациенте, сломавшем бедро и обреченном на пребывание в постели на протяжении пятидесяти дней, он указывал, что такая ситуация превосходит воображение: больной не может себе представить, как двигать ногой и уж тем более — как стоять, и если его не заставить встать, останется в постели до конца жизни. Действительно, меня нужно было заставлять подняться, встать и ходить — но как мог я это сделать в случае, подобном моему, когда все обычные страхи, запреты, сомнения перевешиваются основополагающим — одновременно и физиологическим, и экзистенциальным — распадом, исчезновением?

Сталкивался ли я когда-нибудь с более парадоксальной ситуацией? Как мог я стоять, не имея ноги? Как мог я, лишенный ног, ходить? Как мог я действовать, когда инструмент для этого сведен к состоянию инертного, неподвижного, безжизненного белого предмета?

О чем я думал, так это о замечательной главе в книге А.Р. Лурии «Потерянный и возвращенный мир», озаглавленной «День решающего открытия». По сути, она предназначена для пациента и посвящена возврату «музыки»:

«Сначала с ним [письмом] было так же трудно, как и с чтением. Быть может, еще труднее. Он [пациент] разучился держать карандаш, он не знал, каким концом его брать, как им пользоваться. Он забыл, какие движения надо сделать, чтобы написать букву. Он стал совсем беспомощным... А потом наступил день, который перевернул все. Это был день великого открытия, которое он сделал. Все было очень просто. Сначала он пытался писать, вспоминал образ каждой буквы, пытался найти каждое движение, нужное, чтобы его написать... Разве взрослый человек пишет так же, как ребенок? Разве ему нужно задумываться над каждым образом буквы, искать каждого движения, нужного, чтобы ее написать?! Мы давно уже пишем автоматически, у нас давно сложились серии привычных движений письма, целые «кинетические мелодии»... Теперь ему не нужно было мучительно вспоминать зрительный образ буквы, мучительно искать то

движение, которое нужно сделать, чтобы провести линию. Он просто писал, писал сразу, не думая»[22].

Автоматически! Да, автоматически — это и есть ответ. Что-то должно получиться автоматически — или не получится ничего.

V. Solvitur Ambulando[23]

Каждая болезнь — музыкальная тема, каждое излечение — музыкальное разрешение.

Новалис

Я встал — или, точнее, «меня встали», подняли на ноги двое крепких физиотерапевтов; я, как мог, помогал им, опираясь на два прочных костыля, которые мне дали. Мне процесс показался странным и пугающим. Когда я смотрел прямо перед собой, я понятия не имел, где находится моя левая нога; я вообще не имел определенного ощущения ее существования. Мне нужно было посмотреть вниз — все решало зрение. И когда я таки глянул вниз, то левая нога в это мгновение воспринималась только как объект рядом с правой ногой. Казалось, она никоим образом мне не принадлежит. Мне и в голову не приходило опереться на нее, вообще как-то ее использовать. Так что я стоял, или «меня стояли», поддерживаемый не ногами, а костылями и физиотерапевтами, в странной, довольно пугающей тишине, той напряженной тишине, которая возникает, когда должно случиться что-то значительное.

В эту тишину, в это оцепенение ворвались решительные голоса:

— Давайте, доктор Сакс! Не можете же вы стоять как цапля на одной ноге! Нужно пользоваться и другой, опираться на нее.

У меня возник соблазн спросить: «Какой другой?» Как мог я стоять, не говоря уже о том, чтобы двигать этот чудовищный ком желе, это ничто, вяло свисающее с моего бедра? И даже если, укрепленный этим меловым панцирем, этот нелепый довесок мог бы меня поддерживать, как мог бы я идти, если я забыл, как ходить?

— Давайте же, доктор Сакс! — торопили меня физиотерапевты. — Нужно начинать.

Начинать! Как я мог бы? И все же я должен. Именно этот момент и есть тот странный момент, с которого должно начаться начало.

Я не мог заставить себя опереться непосредственно на левую ногу — потому что это было просто немыслимо, не говоря уже о том, что страшно. Что я мог сделать — и сделал — это поднять правую ногу, после чего так называемая левая нога должна была послужить опорой или подогнуться.

Неожиданно, без всякого предупреждения, совершенно этого не предчувствуя, я обнаружил, что погрузился в головокружительное видение. Пол был на расстоянии многих миль от меня, потом оказался всего в нескольких дюймах, палата внезапно накренилась и повернулась вокруг своей оси. Я испытал шок, меня охватил острый ужас. Я почувствовал, что падаю, и закричал физиотерапевтам:

— Держите меня! Вы должны меня поддерживать — я совершенно беспомощен!

— Сохраняйте равновесие, — ответили мне.

— Не опускайте глаза.

Но я чувствовал бесконечную неуверенность и был вынужден смотреть вниз. Вот тогда-то я и обнаружил источник непорядка. Им была моя нога — точнее, тот предмет, тот безликий гипсовый цилиндр, служивший мне ногой, та белая абстракция. Теперь цилиндр имел в длину то тысячу футов, то два миллиметра: он был то толстым, то тонким, он кренился то в одну сторону, то в другую. Он постоянно менял размер и форму, положение и угол наклона; перемены происходили четыре-пять раз в секунду. Степень трансформации была огромной — между последовательными «структурами» различие могло быть тысячекратным.

Пока перемены были такими чудовищными по величине и неожиданности, и речи не могло идти о том, чтобы я мог что-то сделать без поддержки. Было совершенно невозможно двигаться при подобной нестабильности образа, каждый параметр которого непредсказуемо менялся на несколько порядков. Через минуту или две (другими словами, после нескольких сотен трансформаций) перемены сделались менее своенравными и непредсказуемыми, хотя и продолжались с такой же скоростью, как раньше: трансформации гипсового цилиндра, хоть и оставались чудовищными, сделались менее резкими и стали затухать, приблизившись к приемлемым границам.

При такой ситуации я решил начать двигаться. Кроме того, меня торопили, даже физически направляли и подталкивали двое физиотерапевтов; они улавливали мое беспокойство и сочувствовали мне, но тем не менее (как я предположил и что впоследствии подтвердилось) не имели ни малейшего представления о тех ощущениях, которые в тот момент я испытывал и с которыми боролся. Можно было, пусть с трудом, представить себе (как я теперь подумал), что возможно научиться управлять такой ногой, хотя это походило бы на управление роботом чрезвычайно ненадежной конструкции, постоянно меняющейся невероятным и непредсказуемым образом.

Разве можно с успехом сделать хоть один шаг в мире — перцептивном мире, — постоянно меняющем свою форму и размер?

Когда началось это смятение чувств, у меня возникло впечатление взрыва, абсолютной беспорядочности и хаоса, чего-то совершенно случайного и анархического. Но что могло вызвать такой взрыв в моем уме? Могло ли это быть просто сенсорным взрывом, порожденным состоянием ноги, которой пришлось в первый раз служить опорой, стоять, функционировать? Несомненно, ощущения были слишком сложны и скорее напоминали гипотезы, совокупность тех элементарных априорных догадок, без которых не было бы возможным восприятие или конструирование мира. Хаос царил не в восприятии как таковом, а в пространстве, в эталонах, которые предшествуют восприятию. Я чувствовал, что наблюдаю — в тот момент, когда подчиняюсь им, — само возникновение эталонов, измерений мира.

И это восприятие — или предвосприятие, догадка — не имело ко мне никакого отношения: оно происходило собственным экстраординарным и неумолимым образом, начавшись и сохраняясь, по сути, случайно, модулируясь, возможно, процессом проб и ошибок — чудесной, но несколько механической разновидностью расчета, совершенно меня не касавшейся. Я присутствовал, это верно, но только как наблюдатель — простой свидетель доисторического события, «большого взрыва», который положил начало моему внутреннему миру, микрокосму во мне. Эти перемены я переживал пассивно, а не активно, и таким образом это напоминало присутствие при основании мира, доисторическом установлении его эталонов и пространства. Передо мной и во мне разыгрывалось настоящее чудо. Из ничего, из хаоса создавалась мера. Мечущиеся, колеблющиеся измерения сходились к некоторой средней — к протошкале. Я испытывал ужас, но также благоговение и волнение духа. Во мне, казалось, работает космическая математика, устанавливая безличный порядок микрокосма.

Неожиданно я вспомнил о вопросах, обращенных Богом к Иову: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?.. Кто положил меру ей?..»[24]И я с благоговением подумал: я там был, я видел это. Структуры, трепещущие структуры заставили меня подумать о Планке и Эйнштейне и о том, как квантовость и относительность могут иметь одно происхождение. Я чувствовал, что ощущаю себя в собственном «допланковском времени» — том невообразимом времени, о котором говорят космологи, тех первых секундах после Большого взрыва, когда пространство еще нестабильно, колеблется, квантировано, — времени

приготовления, предшествующем началу настоящего времени.

Я стоял неподвижно, остановленный, прикованный к месту, отчасти из-за головокружения, делавшего движение невозможным, отчасти потому, что меня удерживали эти размышления. Мою душу пронзил восторг перед чудом. «Это самое замечательное, что только со мной случалось, — подумал я. — Никогда нельзя забывать этот чудесный момент. И я не должен скрывать это от других». Сразу же следом за этой мыслью мне пришли на ум другие слова из книги Иова: «О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны они были в книге...»[25]В этот момент я понял, что должен описать свои переживания.

Никогда еще не испытывал я такой быстроты мышления; никогда еще не знал такой быстроты восприятия. Все, что требует столь долгого пересказа: размышления об ощущении, зародившемся в ноге, о высших неиспользуемых системах координации, о том, как они, сначала неуправляемые и хаотичные, калибруются и корректируются методом проб и ошибок, различные захлестнувшие мой разум ощущения, перцептивные[26]гипотезы и расчеты — сменяли друг друга с невообразимой скоростью.

Должно быть, славным физиотерапевтам было интересно понаблюдать за мной: они видели явно неустойчивого, качающегося, сбитого с толку человека с выражением ужаса на лице, постепенно восстанавливающего равновесие, сначала взволнованного и испуганного, затем зачарованного и полного решимости и, наконец, радостного и умиротворенного.

— Ну что ж, доктор Сакс! — сказал один из них. — А теперь как насчет того, чтобы сделать первый шаг?

Первый шаг! Пытаясь устоять, обрести контроль, я думал только о том, чтобы удержаться от падения, выжить — где уж там двигаться! А теперь, подумал я, можно попробовать и шагнуть. К тому же меня торопили, даже мягко подталкивали физиотерапевты, которые твердо знали: нужно поторапливаться, нужно действовать, нужно сделать первый шаг. Они обладали бесценным знанием, которое разум может и утратить, — нет никакой замены действию, «деяние — в его начале»: нет никакого способа что-то сделать, кроме как сделать это.

Мой первый шаг! Легче сказать, чем сделать...

— Ну, доктор Сакс, чего вы ждете?

— Я не могу двинуться, — ответил я. — Я не могу придумать, как это сделать. Я и понятия не имею, как делается первый шаг.

— Почему? — последовал вопрос. — Вы вчера были в состоянии согнуть ногу в тазобедренном суставе. Вы еще так

взволновались по этому поводу — а теперь не можете сделать шага!

— Одно дело — согнуть ногу, — ответил я,

— но совсем другое — сделать первый шаг.

Врач бросила на меня долгий взгляд и, поняв бесполезность слов, молча передвинула мою левую ногу своей ногой, переместив мою ногу в новую позицию, так что я сделал, или был вынужден сделать, что-то вроде шага. Как только это было сделано, я понял, как нужно действовать. Мне этого нельзя было объяснить, но можно было показать, и врач показала мне, на что похоже такое движение — сначала невольное; так тикообразное сгибание накануне показало мне, на что похоже движение бедра. После того как это было мне показано, я смог воспользоваться собственной волей, смог активно действовать сам. Как только был сделан первый шаг, пусть и искусственный, а не автоматический, я понял, как его делать — как можно согнуть ногу в тазобедренном суставе, чтобы нога передвинулась вперед на разумное расстояние.

В отношении определения того, что такое «разумное расстояние» и «разумное направление», я оказался в полной зависимости от внешних визуальных ориентиров — от меток на полу или результатов триангуляции расположения мебели и стен. Я должен был заранее полностью разработать шаг, а потом передвинуть ногу — осторожно, эмпирически определяя, когда она достигнет точки, которую я рассчитал как надежный пункт назначения.

Почему «шел» я таким нелепым образом? Потому что, как обнаружилось, выбора у меня не было. Если я не смотрел вниз и позволял ноге двигаться самостоятельно, она могла переместиться на четыре дюйма или на четыре фута, а то и не в том направлении — например, вбок или, чаще, под случайным углом. Действительно, несколько раз, прежде чем я осознал, что должен программировать ее движения заранее и постоянно следить за ними, нога «терялась», что едва не приводило к падению: левая нога каким-то образом отставала или путалась с моей нормальной правой ногой.

Нереальность происходящего все еще не проходила. Это не на своей ноге я шел, но на огромном неуклюжем протезе, странном придатке, имеющем форму ноги гипсовом цилиндре — цилиндре, который к тому же постоянно менялся, колебался в форме и размере, как будто я управлял удивительно нескладной, ненадежной конструкцией, совершенно нелепой искусственной ногой. Я не могу передать, кроме как в этих выражениях, какой странной была эта псевдо- ходьба, какой полностью лишенной

смысла и соответственно насколько перегруженной мучительной механической точностью и осторожностью. Я обнаружил, что мне приходится вести самые сложные, утомительные и нудные расчеты. Это было своего рода передвижение, но неодушевленное, нечеловеческое. «И это ходьба? — сказал я себе и с ужасом добавил: — Это то, с чем мне придется мириться остаток жизни? Неужели я никогда больше не испытаю настоящей ходьбы? Неужели никогда больше не узнаю ходьбы — естественной, автоматической, свободной? Не буду ли я вынужден отныне и впредь обдумывать каждое движение? Должно ли это быть таким сложным?»

И неожиданно в тишину, в безмолвное щебетание неподвижных застывших образов ворвалась музыка, ликующая музыка Мендельсона — фортиссимо! Жизнь, пьянящее движение! И так же неожиданно, без размышлений, без какого-либо намерения я обнаружил, что иду — иду легко, вместе с музыкой. И так же неожиданно в тот момент, когда началась эта внутренняя музыка, музыка Мендельсона, призванная моей душой и пригрезившаяся ей, именно в тот момент, когда ко мне вернулась моя «двигательная» музыка, моя кинетическая мелодия, — в этот же момент вернулась моя нога. Внезапно, без предупреждения, без какого-либо перехода нога стала живой, настоящей, моей; момент актуализации точно совпал со спонтанным возрождением, движением и музыкой. Я как раз поворачивал из коридора в свою палату, когда как гром с ясного неба произошло это чудо: музыка, ходьба, актуализация — все одновременно. И тут столь же внезапно я ощутил абсолютную уверенность — я поверил в свою ногу, я знал, как ходить...

— Только что произошло нечто экстраординарное, — сказал я физиотерапевтам. — Я теперь могу ходить. Отпустите меня — только лучше будьте рядом!

И я действительно шел — несмотря на слабость, несмотря на гипс, несмотря на костыли, несмотря ни на что, — шел легко, автоматически, спонтанно, с вернувшейся мелодией движения, которая каким-то образом была вызвана мелодией Мендельсона и созвучна ей.

Я шел с шиком — в стиле, который был неподражаемо моим. Те, кто это наблюдал, испытывали чувства, сходные с моими. «Вы раньше шли механически, как робот, — сказали они. — Теперь вы идете как личность, как вы сам».

Это было, как если бы я вспомнил, как нужно ходить, — нет, никакого «если бы»: я действительно вспомнил! Совершенно неожиданно я вспомнил естественный, бессознательный ритм и мелодию ходьбы, они внезапно вернулись ко мне — как

вспоминается когда-то знакомый, но давно забытый напев, вернулись рука об руку с ритмом и мелодией Мендельсона. В этот момент совершился резкий и окончательный скачок — не процесс, не переход — от неуклюжей, искусственной, механической ходьбы, когда каждый шаг нужно было сознательно рассчитывать и совершать, к неосознанному, естественно-грациозному, музыкальному движению.

Снова я сразу же подумал о Засецком в «Потерянном и возвращенном мире» и его поворотном моменте, описанном Лурией, — о неожиданном открытии, которое Засецкий однажды сделал; письмо, которое раньше было ужасно трудным, когда он мучился над каждой буквой и чертой, могло стать совершенно легким, если дать себе волю, если бессознательно и без стеснения отдаться естественному течению, мелодии, спонтанности. И еще я подумал о бесчисленных, пусть и менее эффектных собственных впечатлениях — когда я учился бегать или плавать, сначала сознательно рассчитывая каждый шаг или движение, а потом совершенно неожиданно открывал, что «проникся», что каким-то таинственным образом, без малейших усилий «уловил», «вошел в ритм», «прочувствовал» движение, что теперь я делал все правильно и легко, без сознательного расчета, а просто отдавшись действию в собственном темпе и ритме. Это ощущение было таким обычным, что я едва ли о нем задумывался; теперь же я внезапно обнаружил, что оно было самым главным.

Я подумал о том, что совпадение возможности ходить с Мендельсоном было капризом судьбы — простым совпадением, не имеющим особого значения, и вдруг, шагая вперед, полный уверенности в себе, я неожиданно пережил рецидив: внезапно забыл свою кинетическую мелодию, забыл, как ходить. В этот момент так же резко, как если бы игла была поднята с пластинки, внутреннее звучание Мендельсона прекратилось, и в момент его прекращения моя ходьба прекратилась тоже. Нога неожиданно перестала быть надежной и реальной и вернулась к кинематическому бреду, прежним ужасным скачкам формы, размера, структуры. Как только прекратилась музыка, прекратилась и ходьба, а нога превратилась в колеблющийся фантом. Как мог я усомниться в значимости всего этого? Музыка, действие, реальность — все это было едино.

Я снова был беспомощен и едва мог стоять.

Двое физиотерапевтов подвели меня к перилам, в которые я вцепился изо всех сил.

Левая нога безжизненно шлепала. Я коснулся ее — она была лишена тонуса, была нереальной.

— Не пугайтесь, — сказал один из физиотерапевтов. — Это

местная усталость. Дайте нервным окончаниям немного отдохнуть, и все снова наладится.

Наполовину опираясь о перила, наполовину стоя на здоровой конечности, я дал отдых левой ноге. Бред уменьшился, отклонения стали менее резкими, хотя продолжались с той же частотой. Примерно через две минуты наступила относительная стабильность. Вместе со своими помощниками я рискнул двинуться дальше. Ко мне снова вернулась музыка, столь же неожиданно, как в первый раз, и с ее возвратом появились спонтанность, ходьба без размышлений, тонус в ноге. К счастью, до моей палаты оставалось всего несколько футов, и я смог удержать музыку — и музыкальность движения, — пока не добрался до своего кресла, а оттуда — до кровати; я был измучен, но торжествовал.

Я испытывал экстаз. Казалось, произошло чудо. Реальность моей ноги, способность снова стоять и ходить вернулись ко мне, снизошли как благодать. Теперь, воссоединившись с ногой, с той частью себя, которая была отлучена от меня, я был полон нежности к ней и поглаживал гипс. Я от всей души приветствовал утраченную и вернувшуюся ногу. Нога вернулась домой, к себе домой — ко мне. Действие тела было нарушено, и только теперь, с возвратом телесной активности как целого, тело как таковое стало ощущать себя единым.

До того как началась музыка, не было совсем никаких ощущений — то есть не было ощущения феномена как такового. Это стало особенно ясным в немногие фантастические минуты калейдоскопического мелькания образов. Оно было впечатляющим, самым впечатляющим зрелищем в моей жизни, но это было именно зрелищем, а я — зрителем. Не было «входа внутрь», не было даже мысли о возможности войти в эти чисто сенсорные и интеллектуальные феномены. Я смотрел на них, как смотрят на фейерверк или на звезды. Они обладали холодной безличной красотой, красотой математики, астрономии, неба.

Затем неожиданно, безо всякого предупреждения в такой же холодный и безличный микрокосмос разума вошла музыка, теплая, живая, подвижная, личная. Музыка, как это грезилось мне раньше, была божественным посланием и вестницей жизни. Она была в первую очередь быстрой — «ускоряющим искусством», как называл ее Кант, возрождающей душу, а вместе с ней и тело, так что внезапно, спонтанно в меня ворвалось движение, моя личная перцептивная кинетическая мелодия, в которую вдохнула жизнь внутренняя жизнь музыки. И в этот момент, когда тело обрело действие, нога сделалась живой, плоть стала музыкой, воплощенной вещественной музыкой. В тот момент весь я телом

и душой сделался музыкой.

Ты — музыка,
Пока она звучит.

Элиот

Скачок от холодного трепетания к теплому потоку музыки, действия, жизни абсолютно все преобразил. Бред, мельтешение демонов, калейдоскоп, кинофильм были сущностно неодушевленными, дискретными, в то время как поток музыки, действия, жизни был полностью неделимым органическим целым, лишенным делений или стыков, сочлененным жизнью.

Начал действовать совершенно новый принцип — то, что Лейбниц называл «новым активным принципом единства», — принцип единства, присущего только действию и заданного им.

Что было самым восхитительным, так это божественная легкость и уверенность: я знал, что делать, я знал, что произойдет следующим, меня нес вперед музыкальный поток — безо всякой сознательной мысли или расчета; меня просто несло чувство. Именно это так отличалось, так абсолютно отличалось от сложных изматывающих расчетов, от чувства, что все нужно рассчитать и проработать заранее, выработать программу, стратегию, процедуру, что ничего нельзя сделать просто, не задумываясь. Радость действия, его красота и простота стали откровением: это была самая легкая, самая естественная вещь в мире — ив то же время неизмеримо превосходящая самые сложные расчеты и программы. Действие придавало уверенности одним милосердным касанием, которое превосходило самую сложную математику. Теперь все просто ощущалось как правильное, все было правильно — без усилий, но с внутренним чувством легкости и радости.

Так что же неожиданно вернулось ко мне, воплощенное в музыке, великолепной музыке, в Мендельсоне, в фортиссимо? Это было триумфальное возвращение квинтэссенции жизни, на две недели исчезавшей в бездне, возвращение не призрачного, обдуманного, солипсического «я» Декарта, которое никогда не существует и не действует. То, что пришло, что объявило о себе так ощутимо, так радостно, было полнокровным жизненным чувством и действием, заложенным в основополагающем, командующем, проявляющем волю «я». Фантасмагория, бред не имели организации, не имели центра. То, что пришло с музыкой, организацию и центр имело, и организацией и центром любого действия было «я». Оно превосходило физическое тело, но

немедленно организовало и реорганизовало его в сплошное совершенное целое. Этот новый, сверхфизический принцип был благодатью. Нежданная благодать явилась на сцену, сделалась ее центром и трансформировала ее. Благодать вошла, как это ей присуще, в самый центр всего, в скрытый самый глубокий, недостижимый центр и немедленно скоординировала, подчинила себе все феномены. Она сделала следующее движение очевидным, уверенным, естественным. Благодать была предпосылкой и сутью всего Solvitur ambulando[27]: разрешение проблемы ходьбы — ходьба. Единственный способ сделать что-то — сделать это. Ключом к этому парадоксу служит тайна благодати. Здесь действие и мысль достигли своего конца и успокоения. Я пережил самые богатые событиями и решающие десять минут своей жизни.

VI. Выздоровление

Я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах... я сделал из моей воли к здоровью мою философию..,

Фридрих Ницше[28]

Свобода! Теперь я неожиданно обнаружил, что могу ходить, что я свободен. Теперь я неожиданно оказался целым, я был здоров! Наконец я мог ощутить, что значит быть целым и здоровым, —- после того как это было невообразимым, немыслимым, безнадежным... Теперь, обретя способность ходить, я снова узнал физическую, животную свободу — предшественницу, возможно, любой другой свободы. Теперь неожиданно передо мной открылись просторы — там, где, едва ли осознавая это, я раньше ничего не находил. Я провел, лежа или сидя, практически неподвижный, словно парализованный, восемнадцать дней в своей палате, интенсивно размышляя, но без действия или передвижения. Я не был свободен, физически свободен, чтобы действовать или двигаться. Однако теперь я мог словно чудом стоять; просто потому, что я стоял, мое положение во всех отношениях радикально переменилось.

В первые моменты, когда я стоял и шел — точнее, в момент, непосредственно за этим последовавший, — я обнаружил, что чувствую себя совсем другим человеком — более не распростертым, пассивным, зависимым как пациент, а активным, бодрым, способным посмотреть в лицо новому миру, миру реальному, который теперь стал возможен вместо ускользающего полумира болезненности и ограничений. Я мог встать, шагнуть вперед, пройтись туда-сюда — выйти из заключения и состояния пациента в реальный мир, к своему реальному «я», о самом существовании которого я невероятным и зловещим образом забыл. Да, варясь в пассивности и неподвижности, варясь в глубинах скотомы и отчаяния, варясь во тьме бесконечной ночи, я забыл, я не мог себе больше представить, как ощущается дневной свет.

Вернувшись в палату, вернувшись на свою постель, я обнял вновь обретенную ногу — точнее, гипс; но и он теперь казался живым, пронизанным жизнью ноги. «Дорогая моя старушка, милочка моя, — говорил я ноге. — Ты вернулась, ты настоящая,

ты теперь часть меня». Ее реальность, ее присутствие, ее близость — все это было единым. Я смотрел на ногу с чем-то вроде блаженства, полный чувством ее глубокой материальности, но материальности блистательной, почти сверхъестественной — нога больше не была жутким призрачным тестом, священная и великолепная плоть возродилась. Я был полон изумления, благодарности, радости, я пылал любовью, преклонением, восхвалением. «Благодарю тебя, Боже, — воскликнул я. — Слава Богу!» — эти словесные формы неожиданно обрели смысл.

Сколько же раз за последние четырнадцать дней я старался мыслью вернуть ногу к жизни и реальности совершенно бесполезные попытки, столь же никчемные, сколь утомительные! А теперь без размышлений, без стараний нога была здесь — чудесно, неоспоримо, восхитительно здесь. Она представлялась сияющей в своем всеобъемлющем непосредственном присутствии — присутствии дарованном, которого я не мог достичь никакими усилиями мысли. (Нога была здесь не пассивно, а активно — ее присутствие было едино с потенциалом: она теперь была воплощением силы, и я мог ею двигать как хотел.)

На протяжении трехсот часов, неподвижный, я лежал в постели и думал. Погруженный в свои чувства, устраненный из деятельности, я был вынужден думать. Теперь время размышлений закончилось, пришло время действий, и с этого момента мой полет будет быстрым, без размышлений, я вернусь в свое тело, в свое существование, в мир — к особым приключениям выздоровления и возрождения; я должен был снова стать живым и узнать жизнь, как никогда не знал ее раньше.

В последующие дни я стал ходить гораздо лучше. С каждым днем это давалось мне легче, более музыкально, хотя утомление возвращало меня к «бреду» — мелькающим образам без внутреннего смысла или движения. Однако с каждым днем, с каждой прогулкой я становился сильнее и мог ходить дольше, прежде чем начинался «бред». В последний раз такое случилось примерно через месяц после операции, когда я прошел несколько миль по прекрасному парку. С тех пор подобные ощущения не возникали.

С каждым днем, с каждым достигнутым успехом я делался более смелым, даже чересчур; меня приходилось удерживать от того, чтобы я не переусердствовал — если не до «бреда», то до отека и растяжения. Возвращение здоровья и силы — выздоровление — опьяняло, и я постоянно переоценивал то, что могу и должен сделать; все же мое выздоровление не было плавным, оно состояло из отдельных шагов; не было спонтанного

перехода одной стадии в другую. Когда я заглянул в свою историю болезни и прочел «выздоровление без происшествий», я подумал: «Они с ума сошли. Выздоровление состоит из происшествий, из серии великолепных, непредсказуемых событий. Выздоровление и есть событие или, точнее, пришествие — пришествие новой невообразимой силы, являющее собой рождение или возрождение».

Выздоровление следовало рассматривать не как ровный склон, а как серию радикальных шагов, каждый из которых был непостижим, невозможен по сравнению с предыдущим. Поэтому нельзя было даже надеяться. Надеяться было можно на увеличение уже имеющегося, но ни в малейшей мере — на невообразимый следующий шаг (ведь надежда предполагает определенную степень воображения). Таким образом, каждый шаг был чудом — и мог никогда не случиться без побуждения со стороны других.

С каждым шагом, с каждым продвижением горизонт расширялся, я выходил из ограниченного мира — того мира, к которому привык за время болезни. Это я обнаруживал во всех сферах — и физиологической, и экзистенциальной. Особенно вспоминается один пример. Через три дня после моей первой попытки ходить, после двадцати дней, проведенных в тесной комнатке, меня перевели в другую, более просторную, палату. Я радостно устраивался на новом месте, когда неожиданно заметил большую странность. Все, что было ко мне близко, обладало должной материальностью, пространственной протяженностью, глубиной, но все, расположенное дальше от меня, было совершенно плоским. Напротив моей открытой двери находилась дверь в другую палату, где в инвалидном кресле сидел пациент, а позади него на подоконнике стояла ваза с цветами; еще дальше, за окном, через дорогу виднелся дом с остроконечной крышей — и все это на расстоянии примерно двух сотен футов выглядело плоским, как блин, похожим на огромную подробную цветную фотографию, висящую в воздухе. Я обладаю очень хорошим восприятием глубины, но тут я обнаружил, что с моим чувством глубины и стереоскопичностью зрения что-то случилось, что они отказывали, совершенно неожиданно, в нескольких футах от меня; таким образом, я все еще был заключен визуально в прозрачную коробку размером примерно семь на шесть футов — в точности того же размера, что и моя прежняя палата, которую я занимал на протяжении двадцати дней. Перцептивно я все еще оставался в ней, несмотря на то что переселился, — все еще в чрезвычайно ограниченном визуальном пространстве, в пределах которого сохранялась совершенная стереоскопичность, полностью

отсутствовавшая далее. Это было очень странное ощущение, завораживавшее (хоть и не пугавшее) меня, — оно не было сопряжено, подобно ноге, с ужасной травмой и страхом. Я мог наблюдать и даже измерять смещение параллакса[29], обычно воспринимаемое как глубина, но понимание этого не восстанавливало ощущения глубины. Восприятие глубины, стереоскопичность возвращались скачками, как толчкообразное раскрытие визуального концертино, на протяжении двух часов, но даже и тогда они не восстановились полностью: повернувшись в постели и выглянув в окно (что за наслаждение — ведь двадцать дней я был лишен окна, лишен широких просторов), я видел, как в перевернутый телескоп, крохотный больничный садик совершенно плоским, с неверными углами, искаженным, трапециевидным, хотя он, конечно, был квадратным. Я должен был смотреть за пределы прежней дальности, пока расстояние и глубина скачком не делались правильными.

Я был изумлен и очарован этими визуальными ощущениями, которые представлялись мне в определенном смысле аналогом того, что происходило с ногой. Стереоскопия, как казалось, отчасти исчезла в точном соответствии с моей визуальной депривацией — как совершенно исчезала нога в результате полной сенсорной и моторной депривации. Я мог очаровываться визуальными переменами, не испытывая какого-либо страха. И все же, несмотря на это, несмотря на другие различия, существовала любопытная аналогия: в обоих случаях имели место депривация, неиспользование — с впечатляющими, странными (и в случае ноги совершенно отвратительными) последствиями. Не было ничего отвратительного в потере стереоскопии, но она тем не менее оставалась весьма резкой и радикальной. Я гадал о том, что происходит с заключенными в маленьких камерах. И я немедленно приобрел стереоскоп и подарил его отделению, имея в виду, что он может быть в будущем полезен другим пациентам, помещенным в маленькие палаты, чтобы предотвратить возникновение у них «синдрома узника» — сокращения визуального пространства.

Простор, пространство, протяженность... Свобода — постоянно расширяющиеся физиологические возможности и мир, постоянно расширяющееся личное (и социальное) пространство — именно это, дошло до меня, было сутью выздоровления, а не просто специфическое состояние ноги, ее подвижность; не просто техническое состояние стереоскопии и зрения. Суть выздоровления была в полном целостном возвращении к жизни, в отказе от поглощенности собой, болезнью, ограничениями, возвращении к простору здоровья, полноте существования, к

реальному миру, который я, к своему ужасу, в значительной мере забыл за короткие три недели пребывания пациентом.

Немалая часть моего ужаса заключалась в том, что ужаса я не испытывал. Я не чувствовал, не осознавал того, насколько я ограничен, насколько незаметно сделался привязан к своей болезни, к своей палате — привязан в самом буквальном, физиологическом смысле, однако привязан и в воображении, и в чувствах. Я сделался пигмеем, узником, обитателем — пациентом — без осознания этого. Мы бойко говорим об институализации без малейшего личного ощущения того, что в это понятие входит, — каким коварным и универсальным оказывается ограничение всех пространств (в первую очередь морального пространства) и как быстро это происходит с каждым.

Я часто спрашивал собственных пациентов, десятилетиями находившихся в больнице до того, как к ним приходило «пробуждение»: не чувствовали ли они себя ужасно скованными? Не жаждали ли они вернуться в огромный внешний мир? И я изумлялся их спокойному «нет». Не все они были больны — и тем не менее такая покладистость оказывалась почти всеобщей; она задерживала и препятствовала их возвращению к полноте жизни, даже когда это становилось возможным благодаря применению лекарств. Теперь я понял, что подобная регрессия универсальна. Она возникает в результате любого обездвижения, болезни, госпитализации. Это неизбежное естественное сужение существования, которое делается и переносимым, и непобедимым в силу неосознанности — невозможности прямого осознания. Как может человек узнать, что уменьшился, если уменьшилась система координат? Ему нужно напоминать о «забытом» им большом мире — тогда и только тогда может человек расшириться и излечиться. В ту же счастливую субботу — день, когда меня перевели из лишенной окна крошечной одиночной палаты в просторную комнату в ортопедическом отделении, день, когда мне были возвращены визуальное пространство и простор, день, когда я прошел полмили, получив от этого великолепное ощущение двигательной силы, — в ту счастливую субботу (как раз через три недели после моего падения, самых длинных и самых коротких, самых полных и самых пустых в моей жизни) я также получил моральную свободу для меня (и, возможно, для всех пациентов, поскольку это состояние определяется самим фактом пребывания пациентом) существовало две беды, два страдания, два огорчения, связанных друг с другом, хотя и отдельных. Одним из них являлось физическое (и физикоэкзистенциальное) бессилие — органически заданная эрозия существования и пространства. Другое было моральным

(хоть это и не является вполне адекватным выражением), связанным со статусом пациента, его затруднительным положением и в особенности с конфликтом с «ними» — хирургом, всей системой, медициной как таковой, — отдаться во власть которых неизбежно, конфликтом мучительным и даже параноидальным, что делало еще более невыносимыми физические страдания. Я чувствовал себя поверженным не только физически, но и морально, неспособным постоять за себя перед «ними», особенно перед хирургом. И хотя на каком-то уровне я все время знал, что он, как и я, человек достойный и что все в больнице хотели мне добра и делали все от них зависящее, все равно я не мог стряхнуть с себя кошмарное чувство, владевшее мной с момента госпитализации, но сделавшееся особенно острым, когда коммуникация между нами нарушилась, когда хирург решительно сказал, что моя проблема — ерунда, противореча тем самым моему самому элементарному восприятию, восприятию, на котором базировалось мое основополагающее чувство самости, целостность моей личности. Когда я был физически беспомощен, обездвижен, ограничен, я чувствовал себя и морально беспомощным, парализованным, стесненным, и не просто ограниченным, но скованным, обреченным на роль и положение отверженного.

В ту субботу я нанес визит хирургу. Раньше я пассивно ожидал его появления, которое всегда происходило в одиозном контексте обхода, когда он должен был играть роль всезнающего консультанта перед большой командой, а я — полностью пассивного пациента. Я побывал у хирурга, и мы с ним хорошо поговорили — по-человечески, интеллигентно и с юмором, в результате чего оба освободились от взаимного непонимания.

Такой разговор стал возможен, потому что теперь я меньше в хирурге нуждался. Я больше не чувствовал себя совершенно (и отвратительно) зависимым. Так случилось потому, что мой мир расширился, и хирург, вся система, медицинская организация могли теперь рассматриваться в разумной и должной перспективе. Для хирурга это явно также стало облегчением, потому что никто не хочет иметь раздражающего и раздосадованного пациента; не хотел врач и представать чудовищем в моих сновидениях. Мир был установлен с достоинством и некоторым намеком на сдержанную сердечность.

Теперь я был свободен — свободен морально, как и физически — совершать долгие прогулки, ожидая полного возвращения сил, которое все еще лежало впереди. Теперь моральная неясность и тьма были устранены так же, как темнота физическая — скотома. Теперь передо мной открывалась дорога в

страну света и жизни. Теперь я без препятствий, без конфликтов и ограничений, все быстрее и быстрее побегу по этой прекрасной дороге — к полноте и сладости жизни, которые я забыл или которых никогда не знал. С момента случившегося со мной в среду чуда ходьбы я все более воспарял духом, так что к субботе я летел на крыльях радости — радости, которая должна была длиться и углубляться на протяжении шести недель, которые изменяли, преобразовывали мир, обещали новые чудеса и празднества.

Вид на садик за моим окном дарил мне особое наслаждение. Раньше у меня не было настоящего «вне», не было дневного света, восходов и закатов, не было травы, деревьев, не было ощущения простора и жизни. Как человек, мучимый жаждой, я впивался взглядом в этот зеленый квадрат, только теперь поняв, насколько я был отрезан от жизни в своей стерильной, лишенной окон, искусственной клетке. Никакая картина не могла заменить этого вида. Я должен был видеть, и поскольку это все еще было для меня очень затруднительно физически, по крайней мере в те часы, когда я лежал в постели, я любовался отражением садика в своем зеркале для бритья. Благодаря зеркалу я видел в саду фигуры, крошечные, но настоящие, сидящие и прогуливающиеся; это был мой первый взгляд на настоящий мир, мир людей, внешний мир. Я цеплялся за эти маленькие отражения, более всего желая спуститься в садик (хотя мне и в голову не приходило, что это станет возможным; подобная прогулка все еще казалась недостижимой или запретной). Каждый шаг, каждое продвижение требовали какого-то позволения. Это чувство изоляции, заключения было чрезвычайно интенсивным, особенно потому, что по большей части оставалось неосознанным. Более того: именно я сам налагал запрет на свободные высказывания и действия — это делала та часть меня, которая теперь стала интернализованной госпитализацией. Впервые оказавшись в обществе других пациентов, я разглядел это в них, хотя не замечал в себе; я обнаружил, что требуется нечто или некто, чтобы разрушить этот барьер запрета, торможения, — был ли это кто-то, дающий позволение, или неожиданное понимание того, что позволения не требуется. Все это приводило к тому, что выздоровление проходило определенные этапы. Существовала, так сказать, лестница к свободе, на которую нужно было карабкаться ступенька за ступенькой и подъем на которую требовал двойной предпосылки: необходимой степени физического выздоровления в сочетании со смелостью, моральной свободой.

«Выздоровление без происшествий»! Что за чертова полная

ерунда! Выздоровление (как сказал мой милый врач) было странствием пилигрима, путешествием, когда человек движется, если движется, шаг за шагом, от станции к станции. Каждая стадия, каждая станция была совершенно новым продвижением, требующим нового старта, нового рождения или начала. Нужно было снова и снова рождаться, начинать. Выздоровление ничем не уступает рождению: как смертный человек постепенно заболевает и умирает, так и новорожденный появляется на свет, подвергаясь переменам — радикальным переменам, экзистенциальным переменам, абсолютным и новым, неожиданным, непредсказуемым и удивительным. «Выздоровление без происшествий»? Да оно состоит из происшествий!

После субботы события стали происходить быстрее — с более широким историческим размахом. Я перестал вести поминутный дневник и в определенном смысле прекратил наблюдать и фиксировать происходящее: меня захватил поток выздоровления. Не менее важно было и то, что теперь я был не один — я стал одним из многих в сообществе пациентов отделения. Я больше не был одинок в мире, каким, возможно, считает себя каждый больной в абсолютной изоляции болезни. Я больше не был заключен в собственном пустом мире, я обнаружил, что принадлежу миру, населенному другими людьми — вполне реальными, по крайней мере по отношению друг к другу и ко мне, а не просто исполнителями ролей, хорошими или плохими, какими были те, кто за иной ухаживал. Только теперь смог я избавиться от устрашающих слов, сказанных мне хирургом: «Вы уникальны!» Теперь, свободно разговаривая с другими пациентами — такая свобода стала возможной как раз благодаря чувству сопричастности, тому обстоятельству, что они — мы — были товарищами по несчастью, наслаждаясь свободным общением, я впервые обнаружил, что мои переживания, мой случай, были далеко не уникальными. Почти каждый пациент, имевший повреждение конечности или перенесший операцию, с последующим наложением гипса, в результате чего конечность стала не видна и была обездвижена, испытывал по крайней мере определенную степень отчуждения. Я услышал о руках и ногах, которые ощущались как странные, неправильные, нереальные, жуткие, обособленные, отрезанные; я снова и снова слышал фразу «ни на что не похоже». Я провел в отделении шесть дней и подробно и свободно разговаривал со всеми пациентами. Стало ясно, что многие пережили то же, что и я, и никто не сумел с успехом сообщить о своих ощущениях хирургу. Некоторые пытались, как и я, и получили отпор; большинство хранило

молчание. Кто-то ужасался, кто-то немного боялся, некоторые, флегматики и стоики, казались безразличными, говоря: «Нет, я не беспокоился. Так уж случилось». Если я и правда был уникален, то это касалось не переживаний или их характера, а только рефлексии, непрерывных размышлений о них, о чувстве «нарушения разумности» и его фундаментальной важности.

Как только я убедился в этом, исследователь во мне успокоился, и я смог установить более нормальные социальные отношения. Однако все мы были еще несколько одиноки на этом этапе в силу характера болезни и изоляции, налагаемой строгой вертикальной структурой больницы.

Мои шесть дней в отделении были в определенном смысле полны социальных контактов, но неизбежно ограниченных. Только позднее, в доме для выздоравливающих, атмосфера изменилась, изоляция госпитализации улетучилась, как тяжелый сон, и уступила место уютному домашнему окружению с ощущением, часто сильным, товарищества и дружбы, праздничной общественной жизни, совместного выздоровления — в первую очередь общности разделяемого всеми чувства благополучия.

Днем накануне моего перевода в Кенвуд, дом для выздоравливающих в Хэмпстеде, меня вывезли в маленький садик, на который я с такой жадностью смотрел из окна, — вывезли в инвалидном кресле, одетого в больничную пижаму. Это была огромная радость — оказаться на открытом воздухе: ведь я не покидал помещения почти месяц, — чистая пронзительная радость чувствовать солнце на своем лице, ветерок, шевелящий волосы, слышать птичье пение, видеть и касаться живых растений. Жизненно важная связь с природой восстановилась после ужасной изоляции и отчуждения. Когда я оказался в садике, какая-то часть меня, испытывавшая голод и омертвение, возможно, неосознаваемые мной, ожила. Я неожиданно ощутил то, что часто остро чувствовал раньше, но не относил к своему пребыванию в больнице: необходимость в открытом воздухе, садах при больницах, лучше всего расположенных в сельской местности, в лесу — как некоторые из домов, основанных религиозной общиной, в которых я работал в штате Нью-Йорк; больница должна походить на дом, а не на крепость или учреждение, возможно, на деревню.

Однако, радуясь благословенному солнышку, я обнаружил, что в саду меня избегают не-пациенты — студенты, сестры, посетители. Я был отделен от них, мы — пациенты в больничной одежде — были изолированы; нас избегали, хоть и неосознанно, как прокаженных. Ничто сильнее не давало мне почувствовать

принадлежность к социальной касте пациентов, их отверженность, отчуждение от общества, вызванные жалостью и отвращением, непреодолимую пропасть между нами и ими, которую вежливость и церемонность только подчеркивали. Я понял, что и сам, когда был здоров, в прошлом отшатывался от пациентов — совершенно неосознанно, ни на мгновение этого не замечая. Теперь же, будучи больным, одетый как пациент, я остро осознал, как отшатываются от меня, как держатся на расстоянии от пациентов здоровые не-пациенты. Если бы я не был так испуган и погружен в себя во время госпитализации, я мог бы более отчетливо увидеть, что госпитализация означает: больничную одежду, именную табличку, утрату индивидуальности и идентичности, снижение общего статуса; однако, как это ни странно, только сцена в саду наглядно и почти комично показала мне, насколько мы отделены и какую пропасть должны преодолеть, прежде чем сможем полностью воссоединиться с миром людей.

Провал, пропасть между болезнью и здоровьем — для преодоления их и был предназначен дом для выздоравливающих; мы ведь были инвалидами, слишком долго погруженными в болезнь. Мы не только давали ей пристанище, мы были больны сами: развили в себе отношение к жизни, характерное для обитателей больницы, пациентов. Теперь мы нуждались в двойном выздоровлении — обретении физического здоровья и духовного продвижения к здоровью. Выздороветь физически было недостаточно, если мы все еще испытывали страх и воспринимали себя как нуждающихся в уходе. Мы все были по-своему подорваны болезнью — утратили беспечную смелость, свободу здорового человека. Мы не могли сразу быть выброшены в мир. Мы нуждались в чем-то промежуточном — как в экзистенциальном, так и в медицинском смысле, в месте, где мы могли вести ограниченное существование, защищенное, не предъявляющее слишком высоких требований, но непрерывно расширяющееся, пока мы не стали бы готовы выйти в широкий мир. Больница в узком смысле слова вообще не была миром, так же как тяжелое увечье или острая болезнь едва ли могут быть названы жизнью. Теперь нам стало лучше, мы нуждались в мире и жизни, но не могли еще оказаться лицом к лицу с тем, чего в полной мере требовала жизнь, с суматошным, жестоким, безразличным, огромным миром, — мы были бы уничтожены. Нам требовалось спокойное место, убежище, где мы могли бы постепенно восстановить уверенность в себе и здоровье — уверенность не в меньшей мере, чем здоровье; нам требовался мирный перерыв, мир субботы, нечто вроде колледжа, где мы

могли бы вырасти морально и физически сильными.

В тот последний день в больнице меня поразила мысль, что выздоровление и специальные места для него удовлетворяли потребность общества не в меньшей мере, чем индивида. Если мы, еще совсем недавно больные люди, не могли смотреть в лицо миру, то и мир не мог смотреть в лицо нам с нашими лекарствами и снаряжением больных. Мы вызывали страх и неловкость — я видел это совершенно ясно — ив интересах общества не меньше, чем в наших собственных интересах, не могли быть просто выпущены в мир. Мы несли на себе клеймо пациентов, невыносимое знание о страдании и смерти, невыносимое знание о пассивности, утраченной решимости, зависимости, а мир не любит, чтобы ему напоминали о таких вещах. Гофман правильно говорил о «тотальных учреждениях» — приютах, сумасшедших домах, тюрьмах для полностью обособленных от общества людей, — как об ужасных, но необходимых учреждениях, чтобы скрывать от публики больных, осужденных, стигматизированных. Однако дома для выздоравливающих, подобно колледжам и монастырям, нечто иное. Их суть — благожелательность и помощь. Это учреждения (если тут нет противоречия в терминах), предназначенные для терпения и понимания, для поддержки и перевооружения хрупких тел и душ, в первую очередь посвященные индивиду и заботе о нем. Такой дом для выздоравливающих был бы действительно убежищем и домом, приютом в лучшем, самом верном, глубочайшем смысле слова, бесконечно далеким от ужаса «приютов» Гофмана. И все же...

И все же неизбежна была двусмысленность, потому что хотя, как больной, как пациент в больнице человек возвращается в моральное младенчество, это не злостная деградация, а биологическая и духовная потребность пострадавшего существа. Человек должен вернуться, регрессировать, потому что действительно беспомощен как ребенок, хочет он этого или нет. В больнице человек опять делается ребенком с родителями (хорошими или плохими), и это может ощущаться как инфантилизация или деградация или как добрая и остро необходимая забота. Теперь же наступала следующая стадия — необходимость взросления. Если морально и экзистенциально человек в больнице был ребенком, в доме для выздоравливающих к нему отношение иное — более бесцеремонное, менее ласковое: как, наверное, к подростку.

Сознательно, конечно, я желал выйти, окончить пребывание в больнице, начать взрослеть; и все же в последнюю ночь мое бессознательное изобрело почти-происшествие, которое, если бы

удалось, задержало бы меня в больнице. За восемь дней я обрел значительную меру уверенности в себе и силы, был в состоянии пройти на костылях четверть мили зараз с энергией и щегольством. Импульс, побудивший меня в ту последнюю ночь залезть на крышу — хотя умение подниматься по лестнице было еще только-только мной освоено, а предприятие требовало не только этого, но и проникновения через люк, — казался мне всего лишь проявлением избытка воодушевления. Что за волнующее приключение — залезть на крышу, увидеть лондонские огни, освещающие ночное небо! Волнующее и — учитывая костыли, гипс и наполовину бесчувственную ногу — совершенно безумное, потенциально смертельное. К счастью, меня заметили прежде, чем я зашел далеко, вернули и отчитали за провокацию и глупость. Только тут до меня дошло, что я пытался устроить несчастный случай, потому что до смерти боялся расстаться с больницей. Я не стал бы упоминать этот глубоко личный невротический поступок, если бы не обнаружил, что подобные выходки довольно распространены среди пациентов. Все мы до единого жаждем выписаться, жаждем выйти на свободу и перейти к следующему шагу. Однако это означает прекращение заботы, отказ от статуса опекаемого ребенка, к которому мы успели привыкнуть. Сознательно мы хотели быть отнятыми от груди, но подсознательно боялись этого и пытались предотвратить, чтобы продлить свое особое, защищенное существование.

Несмотря на шальную выходку, на следующее утро меня вместе с шестью другими пациентами (которые все без исключения, как я узнал , совершили в последнюю минуту странные поступки) перевезли в дом для выздоравливающих. Клянусь, я был единственным дееспособным из них: у кого-то стоял катетер, кто-то страдал одышкой; мы представляли собой жалкую команду, карабкаясь в автобус. И наш автобус, похожий на санитарный корабль, корабль-призрак, двинулся по пути проклятых, чуждому и отрезанному от мира, в Хэмпстед.

Я обнаружил, что испуган — как и все, я думаю, — яркостью и суматохой внешнего мира, скоростью и обилием автомобилей, огромными толпами, шумом. Ошеломляющая сложность и суета этого мира приводили в ужас. Мы все в растерянности отвернулись от окон, благодарные за то, что пока не брошены в гущу жизни. Некоторые из нас фыркали по поводу дома для выздоравливающих («глупая идея, идиотское место, я хочу оттуда выйти»), но никто уже не хотел от него отказаться после первого же взгляда наружу. Для нас было огромным облегчением, освобождением больше не быть «внутри», но ни один из нас, как мы поняли, не был готов выйти «вовне». Ощущение

необходимости промежуточного этапа стало ясным, а «идиотское место» сделалось дорогим, нужным, желанным. Мы испытали огромное облегчение, когда покинули кипящий центр города и оказались в более тихом районе Хэмпстеда. После пережитого страха мы испытали момент очарования, когда ворота поместья со скрипом открылись, а потом закрылись за нами, и мы оказались перед старым особняком — огромным, древним, увитым плющом строением, окруженным таким зеленым просторным парком, что ощущение городского шума исчезло. Мы с облегчением, на дрожащих ногах выбрались из автобуса. Нас встретила по-матерински добродушная смотрительница; оценив наше изнеможение, она развела нас по комнатам. Все мы немедленно с облегчением провалились в сон.

Когда я проснулся, мне предстала совершенно волшебная картина: низко стоящая полная луна заливала светом окружающие дом мягкие лесистые холмы. Прошел, как я внезапно понял, как раз лунный месяц с того вечера, когда я на лодке переплывал Хардангер-фьорд под такой же полной луной накануне своего падения, — того зачарованного, таинственного, но зловещего вечера, когда я слушал музыку над неподвижной водой. Был ли то сон, иллюзия? Нет, то была реальность, но реальность волшебная: музыка лилась из расположенной на берегу церкви. Едва дыша, боясь разрушить чары, я привязал лодку и бесшумно прошел через церковное кладбище мимо озаренных луной надгробий к ярко освещенному дому Бога, захваченный и восхищенный великой музыкой Моцарта.

Неужели на самом деле прошел месяц, целый месяц? Пока я страдал и тревожился в больнице, небесные движения продолжались, царственно безразличные, надменно равнодушные к метаниям моего Эго. Открывшаяся мне картина была полна бесконечного спокойствия и умиротворенности. Беспокойство и нетерпение исчезли, как ядовитые испарения. Я чувствовал свое единство со всеобъемлющей тишиной вокруг. Проснувшись тем вечером, я ощутил ее как благословение, как сошедшую с небес благодать.

Легкий сентябрьский туман смягчал сияние и резкие контуры, окутывал и защищал нас. Это тоже я ощущал как сладость и благословение, подобающее лежащему впереди периоду спокойствия: «Спасибо, спасибо тебе, туман».

Неспешно и спокойно я поднялся с постели и взял костыли. Было поздно, я проспал ужин, пациенты уже улеглись. Я спустился по величественной лестнице; насколько же подходил этот старый особняк для времени, которое я переживал! Все было тихо, доброжелательно тихо — это была тишина

умиротворенности, отдыха, субботы. Я закрыл глаза и пробормотал благодарственную молитву.

Какая разница, существует ли Некто, кому нужно молиться? Значение имело лишь чувство благоговения и восхищения, чувство смирения и благодарности в сердце.

Между прошлым полнолунием и этим, на протяжении единственного лунного месяца я оказался близок к смерти и был спасен в последний момент, моя изуродованная плоть была восстановлена; я терял ногу (на целую вечность?), оказывался в пустоте бесчувственности и чудом возвратил ногу себе, когда выздоровление казалось невозможным. Основания моего внутреннего мира были потрясены — нет, полностью уничтожены. Я испытал «скандал разума», унижение ума. Я падал в пропасть, моя плоть распадалась, я терял восприятие, естественное единство тела и души, тела и разума. И я был поднят из этой бездны, возрожден силами за пределами моего понимания. Я был потрясен и разрушен — и таинственным образом спасен. Теперь же я достиг милого убежища, старого особняка в Хэмпстеде, где человеколюбиво мигали свечи и огромное залитое лунным светом спокойствие лежало на холмах. Я открыл дверь — что за свобода была здесь! — ведь в больнице нельзя было беспрепятственно уходить и возвращаться... Я простоял минуту, вдыхая мягкий воздух, наслаждаясь его чистотой, сладким запахом деревьев и глядя на ночное зарево над Лондоном вдалеке, городом из городов, моим родным городом.

По какой-то причине в больнице мне было трудно плакать. Я часто чувствовал себя несчастным, но страдал с сухими глазами. Теперь же неожиданно я ощутил, что по щекам текут слезы. Я плакал — с радостью, с благодарностью, не зная почему.

Только за завтраком я встретился с другими пациентами — все мы были выздоравливающими, собранными вместе на какое-то время. Как новичку, еще не обретшему статуса, мне отвели место в углу, и ветераны рассматривали меня с любопытством, озабоченностью и, возможно, некоторым неодобрением. Немедленно возникло чувство разделения на группы и иерархии, как в первый день в армии или в школе, однако под ним скрывались теплота и товарищество.

Я тут же столкнулся с проблемой. Я не мог сесть за стол с костылями, но если я их оставлю, то как доберусь до своего места?

— Послушайте, — сказал мой сосед, заметив мою растерянность, — вы садитесь, а я поставлю ваши костыли в угол. Мы все тут должны помогать друг другу.

Я поблагодарил его. Это был маленький седой человечек; из-

за диабета он только что перенес ампутацию ноги и теперь, как он признался, страдал от фантомных болей. Мы сообщили друг другу о себе в квазимедицинских терминах, описав симптомы и проблемы, и только после этого перешли к более личным вещам.

— Что с вами? Что случилось? — спросил он, кинув взгляд на мой гипс.

Я рассказал.

— Надо же, какое несчастье! — повернулся он к остальным. — У доктора есть нога, но в ней нет чувствительности, а у меня чувствительность есть, а ноги нет. Знаете, — он снова повернулся ко мне, — у нас с вами получилась бы одна хорошая нога на двоих. Я внес бы чувствительность, а вы — ногу.

Мы засмеялись. Мы все засмеялись. Лед был сломан, и я понял, что этот человек, не обладающий никакими специальными знаниями, мгновенно проник в суть проблемы, точнее, проблем — его и моей, в комичную противоположность позитивного и негативного фантомов. Он продолжал:

— Эти проклятые фантомные боли... Чертова глупость! Ну кому они нужны? Разве нельзя не дать им появиться? Господи Боже! — воскликнул он. — Вы и есть ответ! Все, что они должны были сделать, — это, прежде чем отрезать ногу, дать наркоз, перерезать нервы, наложить гипс — тогда я перестал бы ощущать ногу, как вы. А уж потом резали бы на здоровье! Избавиться от чувствительности, избавиться от идеи, а уж потом — от самой штуки!

Я поразился ясности его ума. Идея показалась мне очень здравой, даже блестящей. Я подумал, что мог бы придать ей медицинскую форму и от его имени послать письмо в «Ланцет»: «Простая профилактика возникновения фантомных болей».

Не только мой сосед, но все обитатели дома для выздоравливающих были гораздо мудрее врачей, которые их лечили! Среди докторов, по крайней мере в отделениях неотложной помощи, распространена презумпция глупости пациентов. Никто не был глуп, кроме тех дураков, которые считали пациентов глупыми. Работая в отделениях для хронических больных, зная одних и тех же пациентов на протяжении ряда лет, приобретаешь большее к ним уважение, уважение к их элементарной человеческой мудрости и особой «мудрости сердца». Но во время того первого завтрака со своими собратьями — не коллегами-врачами, а собратья ми-пациентами, собратьями-страдальцами — я понял, что нужно быть пациентом среди пациентов, что нужно испытать и одиночество, и общность с другими больными, чтобы получить настоящее представление о том, что значит быть пациентом, чтобы понять чрезвычайную

сложность и глубину чувств, резонанс души на каждую ноту — на страдание, ярость, мужество, чтобы оценить мысли, рождающиеся в самых простых практичных умах, потому что опыт пациента заставляет его размышлять.

Все было прозрачным, все обычные барьеры между нами исчезли. Мы не только знали факты друг о друге (нога доктора, яичники миссис П. и т.д.), мы чувствовали, мы понимали чувства других. Такое раскрытие обычно тайных личных чувств — чувств, которые мы зачастую скрывали даже от себя, — глубина заинтересованности и товарищества, обмен бесценным юмором и мужеством казались замечательными в высшей степени, выходящими за пределы всего, что я знал о людях. Мы все прошли через болезнь и страх, а некоторые побывали и под сенью долины смерти. Мы все знали полное одиночество болезни и изоляции, то одиночество, что хуже угрозы ада. Мы все погружались во тьму и на огромную глубину, а теперь вынырнули на поверхность; как пилигримы, мы шли по одной дороге, однако до сих пор эту дорогу нужно было преодолевать в одиночестве. Впереди нас ждал совсем другой путь, где мы были попутчиками друг другу.

Встретились мы случайно. Возможно, мы никогда больше друг друга не увидим. Однако наша встреча, пока она длилась, была стихийной и всеобъемлющей; понимание и симпатия друг к другу не нуждались в словах. Интуитивное понимание того, что у нас было общим, уверенность в глубине и основательности наших отношений походили на известный только нам секрет, о котором не нужно говорить. Действительно, наша болтовня по большей части была легкой: мы шутили, поддразнивали друг друга, играли в бильярд или на банджо, обсуждали новости или результаты футбольных матчей, говорили об интрижках среди персонала или о фаворитизме. На поверхности все было весело и легко. Посторонний наблюдатель счел бы нас легкомысленной компанией. Однако за внешней легкостью скрывалась глубина чувств. Она тайно присутствовала в наших словах, даже в самых мелких и незначительных проделках. Если мы были легкомысленны, то это была жизнерадостность новорожденных — ив равной мере тех, кто познал глубочайшую тьму. Однако ничего из этого не было бы заметно постороннему взгляду. Наблюдатель видел бы поверхность, а не глубину.

После завтрака я вышел из дома — стояло чудесное сентябрьское утро, — устроился на каменной скамье, откуда открывался великолепный вид во все стороны, и раскурил трубку. Это было новое или по крайней мере почти забытое ощущение. У меня никогда раньше не было на это свободного времени. Теперь

же я неожиданно получил возможность не торопиться, наслаждаться почти забытой свободой, которая, вернувшись, казалась самой драгоценной вещью в жизни. Я испытывал острое чувство покоя, умиротворенности, радости, чистого наслаждения «здесь и сейчас», освобожденных от всяких потребностей и желаний. Я живо осознавал красоту каждого окрашенного осенью листа на земле, красоту окружающего меня райского сада, простора Хэмпстед-Хит, уходящих в высокое небо церковных шпилей Хэмпстеда и Хай гейта. Мир был неподвижен, словно схваченный морозом,

— все вокруг сосредоточилось на интенсивности собственного существования. В этой совершенной умиротворенности чувствовалась благодарность и хвала, нечто вроде безмолвной святой сосредоточенности, однако эта тишина была одновременно и песней. Я чувствовал траву, деревья, лужайки вокруг меня, весь мир, всех живых существ как торжественный гимн — и моя душа была частью его.

Все вокруг было мне хорошо знакомо. Разве не вырос я неподалеку от Хэмпстед-Хит, не бегал здесь ребенком? Для меня это место было волшебным всегда, однако сейчас, этим утром, словно в первый день творения, я чувствовал себя Адамом, с изумлением оглядывающим новый мир. Я не знал или забыл, что может существовать такая красота, такая наполненность каждого мгновения. Я совершенно не замечал мгновений и их последовательности, я видел только совершенство лишенного времени «сейчас».

Волшебное царство безвременья находилось между мгновениями, полное пронзительной «сейчасности» того сорта, что обычно поглощается прошлым и будущим. Неожиданно каким-то чудесным образом я оказался избавлен от настойчивого давления прошлого и будущего и смог насладиться великолепным даром полного и совершенного «сейчас». В этом моем «сейчас» не было ни праздности, ни торопливости — я наблюдал за струйкой дыма от моей трубки в спокойном воздухе, слушал бой колоколов, доносящийся отовсюду. Хэмпстед окликал Хайгейт, Хайгейт — Хэмпстед, они переговаривались между собой и со всем миром.

Так я сидел, активно размышляя, но не шевелясь. И, как я заметил, я был не один: другие пациенты сидели или прогуливались в этом раю, неторопливо, спокойно, отдыхая. Все мы наслаждались поразительным днем отдохновения духа; я убедился в этом за сладкий, лишенный времени месяц пребывания здесь. Всех нас держало в нежной хватке удивительное спокойствие, как в колледже или монастыре. Оно

было предназначено для каждого, независимо от нашего состояния, — странная интерлюдия, непохожая ни на что, раньше нам известное. Мы избавились от страдания, от штормов и ужасов, от болезни, подрывавшей нашу уверенность в себе, от сомнения в выздоровлении, но нас еще не призывала к себе повседневность жизни — или того, что считается жизнью в этом несовершенном мире с его бесконечными обязательствами, тревогами, ожиданиями. Нам был дарован волшебный промежуток между болезнью и возвращением в мир, между состоянием пациента и состоянием отца семейства, кормильца, между пребыванием «внутри» и «снаружи», между прошлым и будущим. Настроение субботнего утра длилось, не тускнело, оставалось все таким же сияющим и через неделю, и через месяц.

Другим сентябрем, в другой год, обретя мир после периода тревог, я читаю «Люди в темные времена» Ханны Арендт. Чтение переплетается с воспоминаниями: я пишу в течение некоторого времени, а потом делаю перерыв и берусь за книгу Ханны Арендт, которая говорит о лишенном времени месте, о вечном безмятежном присутствии между человеческими часами и календарями, о спокойствии «сейчас» в торопливом мечущемся существовании человека, о крохотном безвременном пространстве в самом сердце времени, о том, что это единственный дом для ума, души и искусства, единственная точка, где прошлое и будущее встречаются и где рисунок и значение целого делаются ясными. Именно такое отсутствие времени было даровано мне Кенвудом.

В мои студенческие дни я, увы, по большей части не воспринимал Оксфорд как данность, не ценил, не пользовался привилегией отсутствия в нем времени; теперь же я такую привилегию — особый перерыв на время выздоровления — остро осознавал. Так же чувствовали и все обитатели дома для выздоравливающих. Для многих, обремененных работой, семьей, постоянно тревожащихся и озабоченных, это был первый период действительного отдыха, первые каникулы, когда-либо им выпадавшие, первый раз, когда у них было время думать и чувствовать. Все мы по-своему глубоко задумывались и, как я подозреваю, глубоко менялись, иногда навсегда благодаря этому опыту.

В больнице мы утрачивали ощущение мира. Только в доме для выздоравливающих мы вновь соприкасались с ним — пусть на расстоянии, в облегченном варианте, в миниатюре. Свое первое утро там я провел, нежась на солнце, совершая короткие ознакомительные прогулки по саду. После обеда я добрался до ворот. Для этого требовалось преодолеть спуск, и я полностью

выдохся. Хватая воздух ртом, дрожа, я оперся о забор; мое бессилие и неготовность чувствительно напомнили о себе. Через дорогу на тренировочном поле Хай гейта я видел школьную команду, играющую в американский футбол, наблюдать за этой игрой я всегда любил. Меня изумил и огорчил спазм ненависти, который я почувствовал. Я ненавидел здоровье игроков, их сильные молодые тела. Я ненавидел их беззаботный избыток энергии и свободу — свободу от тех ограничений, которые я так остро ощущал в себе. Я смотрел на них с ядовитой завистью, с мелочной злобой, с недоброжелательством инвалида, а потом отвернулся. Я больше не хотел видеть здоровых людей, мне хотелось убежать от них и от собственных чувств, открывшейся во мне мерзости.

Я в определенной мере утешил себя мыслью: «Это не я — не настоящий я; это говорит моя болезнь. Таков хорошо известный феномен — отвратительная злоба больного». И я добавил: «Ты можешь это чувствовать, но позаботься о том, чтобы ничего не показывать». Потрясенный и огорченный, я доковылял до скамейки. День был по-прежнему солнечным, но для меня стал пасмурным.

Сходные ощущения я испытал на следующий же день, когда, гуляя по парку, набрел на клетку с кроликами. Меня опять поразил укол ненависти, который я почувствовал: «Как смеют они скакать, когда я — инвалид?» То же почувствовал я и в отношении изящной кошки, которую возненавидел именно за ее красоту и грацию.

Я был потрясен этой реакцией, злобным, раздражительным противоречием жизни, этим неожиданным разливом желчи после восторженных, лирических чувств, в которых я признавался себе. Однако случившееся было поучительно, и осознание и признание в нем были важны для понимания других. И тут мои товарищи-пациенты оказались великолепны; когда я, заикаясь, стыдливо признался в постыдных чувствах, мне сказали: «Не беспокойтесь, мы тоже через это прошли. Этот этап минует».

Я надеялся, что они правы. Уверен, правда, я в этом быть не мог. Что я знал точно, так это что в тот момент испытывал ненависть. Я ласково улыбался престарелым и недужным; остальных я просто не выносил. Мое сердце раскрывалось перед увечными и страдающими, а при демонстрации здоровья со стуком захлопывалось.

Однако в понедельник, когда я приступил к физиотерапевтическим процедурам и врач проявил уверенность в хорошем исходе и всячески меня поддержал, вызвав у меня надежду на практически полное излечение, я обнаружил, что

мрачные чувства исчезли. Я погладил кошку, покормил кроликов и провел час, с удовольствием наблюдая за футболистами. Здесь, таким образом, произошел радикальный поворот к жизни.

Мне трудно писать обо всей этом даже по прошествии многих лет. Бывает легко вспоминать хорошее, времена, когда сердце ликовало, когда все было полно доброты и любви, легко вспоминать красоту жизни — каким благородным я был, каким щедрым себя чувствовал, какое мужество проявлял перед лицом бедствий. Гораздо труднее вспоминать, каким отвратительным я однажды был.

Я лгал, когда говорил себе: «Это не я, не настоящий я. Это говорит болезнь». Болезнь голоса не имеет, так что то был я, отталкивающий я. Как могу я утверждать, что настоящего меня составляют великодушие, высокие чувства, а злоба и враждебность — всего лишь проявления болезни?

Мы с готовностью видим в других то, чего не хотели бы или не осмелились бы увидеть в себе. Пациенты, с которыми я работаю, страдают от хронических болезней. У них мало или вовсе нет надежды на выздоровление, и они знают об этом. Некоторые из них обладают великолепным чувством юмора и мужеством, их любовь к жизни ничем не омрачена. Однако есть и ожесточенные, злобные, недоброжелательные — великие ненавистники, убийственно враждебные, демонические. В этом проявляется не болезнь, а личность, ее коллапс или разложение в результате жестокости жизни. Если мы обладаем молодостью, красотой, дарованиями, силой, если мы видим перед собой славу, удачу, привлекательность, достижения, то легко быть доброжелательным и тепло относиться к миру. Но стоит оказаться неудачником, калекой, нетрудоспособным, стоит лишиться здоровья и силы, удачи и признания, заболеть без ясной надежды на выздоровление — и наша отвага, наш моральный характер до предела претерпят испытание на прочность.

Я и сам подвергся такому испытанию, хотя и ненадолго. Все скоро миновало. Мне не пришлось жить с постоянным увечьем, с чувством постоянного бессилия и несчастья. За моим столом был другой пациент — молодой художник, который только что перенес операцию на сердце после многих лет тяжелого заболевания. Большую часть времени он страдал физически, выглядел осунувшимся и постаревшим и смотрел на окружающих недоброжелательным взглядом скунса. Ему с трудом удавалось скрыть чувство злобы, которое усугубляло его беды и которого он стыдился; однако выражение глаз выдавало его, даже когда он прикусывал язык. Мое не слишком дружелюбное отношение к

нему, должно быть, тоже было заметно, потому что однажды он не выдержал: «Вам-то хорошо! Вы идете на поправку. Вы скоро выздоровеете. Сможете делать все, что захотите. А что ваш взгляд врача говорит вам обо мне? У меня скверное сердце, отвратительные сосуды. Конечно, я отсюда выпишусь, но снова вернусь. Я был здесь уже несколько раз. Меня здесь уже знают. Люди предпочитают не смотреть мне в лицо. Они видят смертный приговор и видят, что я переношу его плохо. Они видят мои синие губы и общую слабость, как видите все это и вы, хоть и притворяетесь, что ничего не замечаете. Не слишком красивая картина, никакой возвышенности, никакого утешения. Но скажите мне, дружок, что, черт возьми, мне делать?»

Как и в колледже, в доме для выздоравливающих есть определенные ограничения. Существует определенное время приема пищи, пациенты сидят за отведенными им столами, подчиняются расписанию физиотерапевтических и иных процедур, им назначается время приема у врача и сначала ограничиваются посещения и не разрешается выходить за пределы территории. Потом нужно получать на это разрешение и возвращаться к определенному часу. И тем не менее, несмотря на эти почти монастырские ограничения, существовали свобода и идеализм — тоже как в монастыре. Нас поддерживала мысль о том, что наш долгий путь в конце концов приведет нас к здоровью, приведет домой; эта мысль была одновременно благочестивой и практической. Это и было главным в нашей жизни. Мы все знали болезнь, как знают ошибку или зло, мы все стремились к здоровью, восстановлению равновесия, как ищут благо или истину.

Дневной распорядок и установленные ограничения были важны. Без них мы могли бы впасть в уныние или предаться панике, ошибочно судили бы о своих возможностях или целыми днями лежали, или сильно рисковали бы, превышая свои силы. Ни один из нас еще не обладал выносливостью здорового человека. Мы все еще были хрупкими и нуждались в расписании и заботе. Мы не могли еще физически наслаждаться свободой здоровья, его беззаботным легкомыслием, изобилием и излишками. Таким образом, наши занятия, наши жизни должны были соразмеряться с нашими возможностями — и только постепенно приближаться к норме.

Сам я постоянно нарушал распорядок и перегружался. Я отправлялся на длинные прогулки по парку, соблазненный просторными лужайками на склонах и великолепной легкостью пружинистого спуска по ним — только для того, чтобы обнаружить, спустившись вниз, к ручью, что полностью

вымотался; с трудом поднявшись обратно, я чувствовал, что нога обессилела и лишилась тонуса, колено воспалялось, что укладывало меня в постель на сутки. Я испытывал чувство обманчивой легкости — и одновременно должен был прилагать огромные усилия и преодолевать трудности в самых простых делах. Было нелегко лечь в постель или встать с нее или занять нужное положение на стуле или в туалете. Мне постоянно требовались костыли и какое-нибудь приспособление, чтобы дотягиваться до удаленных предметов. По утрам мне было трудно надеть левый носок. Приходилось использовать странное приспособление, на которое нужно было натягивать носок, потом забрасывать вниз и с его помощью надевать носок на ногу — что походило на ловлю рыбы на спиннинг.

Мы приехали сюда ради выздоровления. Мы должны были поправиться. Однако это не просто физиологический процесс. Возможно, играет роль то, что термины «выздоровление» и «исцеление» не совсем совпадают: последний означает восстановление целостности, что предполагает не процесс, а действие — много действий.

Существует, конечно, физиологическое выздоровление — применительно, например, к тканям. Это и есть единственное значение выздоровления в том смысле, какой в него вкладывает хирург. Ткани были разъединены, ткани были соединены, его работа выполнена — а выздоровление тканей дело времени. Строго говоря, с точки зрения хирурга, как и с точки зрения «плотника», он прав, хотя дальше следует ворчливое назначение «послеоперационной физиотерапии», как если бы это было чем-то чисто терапевтическим или механическим…

Механический аспект, несомненно, наличествует. Мышцы должны упражняться, иначе они теряют силу и тонус. Упражнения необходимы и благотворны — необходимы, но не достаточны. Например, ходьба, не говоря уже о более сложных моторных навыках и действиях, касается не только мускулов (даже если, как в моем случае, первично повреждены были именно мышцы). Реабилитация должна в первую очередь касаться характера действий — того, как их вызвать, когда они распались, «потерялись» или были «забыты». Без этого я, несомненно, остался бы прикован к постели — в точной соответствии с тем, что говорил Гиппократ.

Однако я не мог добиться этого силой воли, одними только собственными усилиями. Исходный импульс должен был поступить извне. Я должен был породить Новое Действие, но инициировать роды должны были другие, сказав «Сделай это!». Они должны были дать разрешение, предписать, выступить в

роли акушерки — и, конечно, поддерживать и ободрять. Дело было не в неврозе или пассивности. Каждый пациент, каким бы решительным и волевым он ни был, сталкивается именно с этой трудностью — с тем, чтобы сделать первый шаг, научиться чему-то заново. Он не может себе этого представить — воображение отказывает, — и другие, понимая это, должны подсказать ему, как действовать. Они, так сказать, выступают посредниками между пассивностью и действием.

Именно такова высшая точка, главный момент, необходимый для выздоровления. Однако это не конец, а только начало. И если я должен был провести в доме для выздоравливающих еще шесть недель, то потому, что требовалось овладение другими сходными действиями — ведь восстановление высших функций происходит не гладко и не автоматически. Реабилитация в этом смысле есть повторение, второе детство, потому что, как и детство, она предполагает настойчивое научение, переходы с одного уровня на другой, и это требует огромных усилий. Физиология, или по крайней мере физиология высших функций, зависит, основывается на ощущениях и действиях, и до тех пор, пока ощущения и действия не сделаются возможными — а в этом как раз и заключается главная роль терапевта, учителя, — нервная система не станет зрелой, не исцелится.

Таким образом, в доме для выздоравливающих, хотя я с каждым днем становился сильнее и делал все с большей легкостью, ничего нового самостоятельно я делать не мог, требовалось вмешательство другого человека. Это очень ярко проявилось, когда мне пришло время «переходить в следующий класс» — пользоваться одним костылем, а позднее и тростью.

Дом для выздоравливающих трижды в неделю посещал очень милый и понимающий молодой хирург. Однажды я его спросил, как мне дальше ходить (ему я такой вопрос мог задать, в то время как своего хирурга в больнице я не мог спросить почти ни о чем).

— Все просто, — ответил он мне. — Вы, наверное, уже и сами догадываетесь об ответе. Я сам через это прошел, когда сломал ногу, так что знаю, что к чему.

Так что когда мистер Амундсен сказал, что мне пора отказаться от одного костыля, он говорил авторитетно — опыт и понимание и есть единственный истинный авторитет. Я ему поверил, я полагался на него... Но то, что он предложил, было невозможно.

— Это невозможно, — заикаясь, пробормотал я. — Я себе этого не могу представить.

— А вам и не нужно представлять — достаточно сделать.

Собрав волю в кулак, дрожа от напряжения, я попытался — и

немедленно споткнулся и растянулся на полу. Я попробовал снова — с тем же результатом.

— Не беспокойтесь, — сказал хирург. — Оно само придет, вот увидите.

Оно и пришло позднее в тот же день — но пришло в сновидении.

На этот раз мне приснилось, что мне позвонил по телефону друг. В Вестминстерском аббатстве должна была состояться служба в память У.Х. Одена — не приду ли я на нее? Я любил, почитал Одена и прийти хотел. Более того, я считал своим долгом выразить свое почтение. Я испытывал мучительный конфликт, но страх в конце концов победил.

«Мне ужасно жаль, — сказал я, — конечно, я хотел бы прийти, если бы это было физически возможно. Однако на данной стадии, боюсь, это совершенно немыслимо. Мне очень хотелось бы прийти, но об этом и думать нечего!» — Да, именно так я и сказал.

На следующее утро повидаться со мной зашла физиотерапевт, увидела у меня на столе гранки статьи, которую я написал об Одене, и заметила:

— Говорят, церемония в аббатстве была очень трогательная. Расскажите мне о ней — вы там, конечно, были?..

Я был словно громом поражен. Мой психический мир содрогнулся.

— Но, — выдавил я, — я не мог пойти.

— Почему же? — требовательно спросила она.

— Меня приглашали, и я хотел, но это было немыслимо, даже и думать нечего.

— Немыслимо?! — взорвалась она. — И думать нечего?! Конечно, вы могли пойти! Вы должны были пойти! Что, черт возьми, вас остановило? Почему вы не могли выйти?

Боже мой, она была права! Кто и что остановило меня? Что за чушь я молол насчет «и думать нельзя»? В тот момент, когда она заговорила и спросила «Почему же?», великий барьер исчез — хотя я не думал о препятствии как о барьере, просто полагал, что думать нельзя. Находился ли я под запретом или воображение отказывало?

Как бы то ни было, ее слова меня освободили. «Проклятие, я сейчас же выхожу!» —- сказал я.

— Хорошо, — ответила она. — Давно пора!

Быстро, не раздумывая, я вышел за ворота и двинулся вверх по холму к Хайгейту. Великолепно! Что за удовольствие! Это был мой первый выход наружу. До этого момента о таком и подумать было нельзя! — я чувствовал себя заключенным, инвалидом и не

мог представить себе иного. Я был совершенно не способен сделать этот решительный шаг. Для того чтобы выйти наружу, в широкий мир, потребовалось ее «Почему нет?».

На вершине Хайгейтского холма я нашел маленькую чайную и решительно, не колеблясь, вошел в нее.

— Вы сумели, — сказала мне официантка,

— вы наконец добрались сюда.

— Разве вы меня знаете? — изумленно спросил я.

— Вас лично я не знаю, — сказала она, — но я знаю, как бывает. Вы, парни, сидите в доме для выздоравливающих, изнывая от бессилия, — а потом неожиданно будто взрываетесь, и взрывом вас приносит на вершину Хайгейтского холма — прямо в нашу чайную, для первой трапезы на свободе.

— Да, — сказал я, — вы правы во всем. — И тут я заказал не просто чашку чая, а настоящее пиршество, чтобы отпраздновать свое освобождение.

— Все так делают, — сказала официантка,

— абсолютно все.

Какая мне была разница? Впрочем, мне было приятно поступать так же, как многие до меня: это позволяло мне чувствовать себя не таким отчужденным, не таким «уникальным»; я попадал в общую колею, становился частью мира.

Я заказал почти все, что значилось в меню — от тоста с анчоусами до ромовой бабы и меренг, — и все было просто восхитительным, настоящая еда любви (оральная музыка). Не только восхитительным, но и святым — я видел в трапезе священнодействие, мое первое причащение. Я голодал по миру больше шести недель. Я был голоден и воспринимал свой выход за ворота как пиршество. С каждый священным глотком, вкушая медленно, хотя и жадно, с благодарностью и благоговением, я ощущал, что участвую в обряде поглощения священного блюда — всего окружающего мира. Это чувство было не только физическим, но и духовным. Еда и питье несли на себе благословение.

С этого момента меня было не остановить. Я постоянно уходил из дома для выздоравливающих, я влюбился в мир; я разъезжал на такси столь же экстравагантно, как делал бы монарх, посещающий другую страну. В определенном смысле я им себя и чувствовал — королем, долго находившимся в изгнании и торжественно приветствуемым миром, в который он вернулся. Мне хотелось обнять знакомые дома, хотелось обнять случайно встреченных на улице незнакомцев — обнять, поглотить, как свою первую трапезу в чайной, потому что они тоже были частью великолепного пиршества. Должно быть, я

часто улыбался и смеялся или как-то иначе демонстрировал счастье и любовь, потому что многое получал взамен. Особенно это чувствовалось в пабах вокруг Хэмпстеда — замечательных, веселых, битком набитых пабах, с садиками и яркими навесами, согретыми солнцем, посетители которых были самыми доброжелательными и общительными людьми в мире. Мои костыли, а они все-таки были нужны, чтобы садиться и вылезать из такси, и гипс служили универсальным пропуском. Куда бы я ни отправился, меня всюду принимали с радостью. Я обожал общение — я, всегда такой сдержанный и застенчивый. Я обнаружил, что постоянно распеваю, играю в дартс, рассказываю фривольные истории, смеюсь.

Я везде — ив первую очередь в себе — обнаруживал раблезианский смак, грубоватый, но праздничный и совершенно простодушный смак. Однако я с равным интересом присматривался к незаметным сторонам жизни, к тихим просторам, освещенным луной дорожкам. Мне хотелось выражать благодарность по-всячески — энергией и спокойствием, в компании и в одиночестве, с друзьями, с незнакомцами, в действии, в мыслях. Это время казалось мне здоровым временем, без страстей или болезни. Я чувствовал, что именно таким и нужно находить мир — таким, каков он в действительности, если человек не пресыщен и не развращен. Я испытывал радость и любопытство младенца.

И если это была истина, если так все и должно было быть, то как можно находить мир скучным? Я задумался о том, не является ли то, что обычно называют нормальным, само по себе сортом скуки, омертвения чувств и духа. Меня, освободившегося, выпущенного на свободу, вынырнувшего из тьмы и бездны, пьянили свет, любовь и здоровье.

Я чувствовал, что в моей жизни произошел огромный перелом и что отныне и впредь я глубоко и навсегда изменюсь. Я немногое буду считать само собой разумеющимся — пожалуй, ничего не буду считать само собой разумеющимся. Я буду смотреть на жизнь, на все существование как на самый драгоценный дар, бесконечно уязвимый и ускользающий, а потому требующий бесконечного обожания и заботы.

В понедельник 7 октября — через шесть недель после операции — меня снова отвезли в больницу для проверки и снятия гипса; если все окажется хорошо, гипс должны были снять насовсем. Страха у меня не было, я знал, что все хорошо, — и мне хотелось увидеться с когда-то проклинаемым хирургом и его командой в более дружеской обстановке.

К счастью, так и случилось, и никаких проблем не возникло.

Перед мистером Свеном предстал улыбающийся благодарный пациент, полный сожаления о прошлом раздражении. Хирург не мог не ответить тем же, хотя проявил некоторую застенчивость и сдержанность. Он улыбнулся, хоть и не очень широко, пожал мне руку, но не слишком горячо, он был доброжелателен, но сдержан. Я удивлялся тому, что раньше мог считать его таким ненавистным — на самом-то деле ненавидеть его было не за что, как, впрочем, и любить; это был просто достойный спокойный человек, профессионал, обладающий блестящей техникой (в последнем я никогда не сомневался). Он просто чувствовал себя неловко перед лицом сильных эмоций, какие в своих страданиях обрушивал на него я. Теперь, когда страдания были позади и опасения не оправдались, когда я поправился и не предъявлял больше требований, он был очень доволен и улыбался. Если изменилось его отношение ко мне, то, несомненно, изменилось и мое отношение к нему. Я представил себе, как потом он будет обсуждать меня со своей командой. «Не такой уж плохой парень, этот Сакс, — правда, слишком эмоциональный, конечно. Должен сказать, находясь в больнице, он создавал проблемы, но для него это было трудное время. Не хотел бы я оказаться на его месте. Но теперь с ним все в порядке, верно? Нога выглядит замечательно. Все хорошо, что хорошо кончается». И с этим он выбросит меня из головы.

Да, действительно, когда гипс был снят, моя нога стала выглядеть замечательно — она прекрасно набрала вес, хотя все еще оставалась тоньше (и несколько холоднее) правой, а шов выглядел аккуратным и даже элегантным, особенно если думать о нем, как о героическом боевом шраме. Не осталось никакого отчуждения, так поразившего меня четыре недели назад. Нога была, несомненно, живой, несомненно, реальной, несомненно, моей плотью, лишь с небольшой неопределенностью, странностью в районе колена. Поэтому меня несколько удивило, когда оказалось, что кожа лишена чувствительности — совсем лишена, как при анестезии, — всюду, где был гипс. Это было неглубокое онемение — проприоцепция оставалась нормальной (что соответствовало нормальному, неотчужденному восприятию конечности), — всего лишь поверхностное.

Возвращаясь в Кенвуд в карете «скорой помощи», я стал тереть и мять ногу руками, и по мере того как я стимулировал кожу и ее рецепторы, чувствительность с каждой минутой возвращалась; за тот час, что длилась поездка, она восстановилась почти полностью. То ли дело было в отсутствии обычных раздражителей под гипсом, то ли в давлении гипса, я уверен не был. Я узнал, что другие пациенты тоже испытывали

такое онемение — поверхностное и преходящее, так что особого значения оно, по-видимому, не имело. Вот потеря глубокой чувствительности, потеря проприоцепции, была бы совсем другим делом, чрезвычайно опасным...

Я говорю «почти», потому что одно место на поверхности бедра и колена не поддавалось моим усилиям и оставалось совершенно лишенным чувствительности. Это было то самое место, где кожные ответвления бедренного нерва были рассечены при операции.

Теперь, когда гипс был снят, осталась последняя проблема: недостаточная подвижность колена, которое казалось негнущимся, скованным даже в выпрямленном состоянии шрамом. Мне приходилось каждый день по полчаса насильно заставлять колено сгибаться, стараясь сделать более податливым жесткий фиброзный рубец.

В пятницу, поскольку все шло хорошо, мне разрешили провести ночь дома. Встречать меня собралась вся семья — это был канун дня отдохновения. На следующее утро я с отцом и братьями отправился в синагогу, и мы все вместе должны были читать Закон.

Это было невыразимое ощущение, потому что я чувствовал себя не только в объятиях своих близких; с ними стояла вся община, вся красота древней традиции и вечная радость Закона. Нам выпало читать Генезис, почти в начале — очень подходящее место для человека, который был возрожден, потому что незадолго до этого, в день Празднования Закона, годичный цикл чтения был завершен и начат заново, и звучал шофар, и раздавался ликующий крик: «Мир создан заново!»

Служба, церемонии, библейские истории — все это было полно смысла, как никогда не бывало раньше. Весь последний месяц меня пронизывало чувство пантеизма[30], ощущение, что мир — это дар Бога, за который его следует благодарить. В религиозной церемонии я нашел истинную аллегорию собственного опыта и состояния — увечье и искупление, тьму и свет, смерть и возрождение; я совершил «паломничество», навязанное мне судьбой или моим несчастьем. Теперь, как никогда раньше, я видел важность символов Писания и притч. Я чувствовал, что моя собственная история имеет форму некоего универсального экзистенциального опыта, путешествия души в потусторонний мир и обратно, духовной драмы на неврологической основе.

В определенном смысле мой опыт носил религиозный характер — я думал о своей ноге как об изгнаннице, покинутой Богом, потерянной и возвращенной, возвращенной

трансцендентным образом. В равной мере это был и захватывающий научный и когнитивный[31] опыт — однако он выходил за пределы науки и познания. Я понимал, что я постепенно меняюсь, что с большей симпатией отношусь к философии и религии, но это ни в малейшей мере не влияло на мои научные взгляды.

Еще двенадцать дней, и меня отпустили из Кенвуда как примерного пациента, которого сочли годным для внешнего мира. Мне в Кенвуде очень нравилось, я по-настоящему подружился с другими выздоравливающими, и прощание было трогательным. Мы совершили совместное путешествие, прожили вместе короткую, но очень значимую часть жизни, мы делились переживаниями с редкой искренностью и доброжелательностью, а теперь расставались, желая друг другу успехов на жизненном пути, и каждый отправлялся своей дорогой.

В Кенвуде я испытал великие счастье и умиротворенность, но это был только короткий период жизни, который должен был закончиться. Не все функции у меня полностью восстановились, и я чувствовал, что нуждаюсь в другой оценке — оценке опытного ортопеда, который посмотрел бы на меня свежим взглядом и дал совет на будущее.

Я позвонил мистеру В.Р. с Харли-стрит, который согласился принять меня на следующий день.

Я рассказал о случившемся со мной с надеждой, но без особых ожиданий. Мистер В.Р. был румяный добродушный человек, с ним было легко; он внимательно выслушал меня, иногда задавая проницательные вопросы, и проявлял интерес ко мне — ко мне как к личности, а не только как к больному; казалось, все его время в моем распоряжении, хотя я знал, что он один из самых востребованных врачей в Англии. Он слушал с полной сосредоточенностью и сочувствием, а потом осмотрел меня — быстро, но со знанием дела и тщательно.

Это — мастер, сказал я себе. Я буду слушать его так же внимательно, как он слушал меня.

— Вы много пережили, доктор Сакс, — заключил мистер В.Р. — Вы не думали о том, чтобы сделать из этого книгу?

Я был польщен, покраснел и сказал, что такая мысль мне приходила.

— Отчуждение, — продолжал он, — это обычный феномен. Я часто встречаю его у своих пациентов, так что обычно предупреждаю их заранее.

Да, это действительно мастер, еще раз подумал я. Было бы все иначе, если бы моим хирургом оказался он?

— В вашем случае, конечно, отчуждение приняло худшую

форму из-за полного дефицита проприоцепции. Я все еще могу обнаружить его в колене, хотя он больше не носит симптоматического характера. Однако вы можете столкнуться с проявлениями такого рода, если слишком нагрузите колено. Вам придется как минимум в течение года соблюдать осторожность. Что же касается того, как вы ходите, вы делаете это так, словно у вас еще не снят гипс. Вы держите ногу выпрямленной, как будто у вас нет колена. Однако вы уже можете сгибать колено на 15 градусов — это немного, но достаточно. Достаточно для того, чтобы ходить нормально, если только вы будете эту возможность использовать.

Я согласно кивнул.

— Почему вы ходите так, словно у вас нет колена? Это отчасти привычка — так вы ходили, пока у вас был гипс, — отчасти, я думаю, потому, что вы забыли о своем колене и не можете представить себе, как им пользоваться.

— Я знаю, — сказал я. — Я сам это чувствую. Но мне не удается пользоваться коленом осознанно. Как ни попытаюсь, оно чувствуется неуправляемым, и я спотыкаюсь.

Он на мгновение задумался.

— Что вам нравится делать? Что получается у вас естественно? Каково ваше любимое физическое действие?

— Плавание, — ответил я не колеблясь.

— Хорошо, — сказал он. — У меня есть идея. — На его лице появилась лукавая улыбка. — Думаю, что лучше всего вам пойти поплавать. Извините меня — мне нужно позвонить.

Через минуту он вернулся, улыбаясь еще шире.

— Такси будет здесь через пять минут. Вас отвезут в бассейн. Я приму вас в то же время завтра.

Меня доставили в бассейн Сеймур-Холл. Я взял в аренду полотенце и плавки и, дрожа, приблизился к бортику. Молодой спасатель, стоявший у трамплина, насмешливо взглянул на меня и спросил:

— Эй, в чем дело?

— Мне сказали, что я должен поплавать, — ответил я. — Так мне сказал врач, но я не уверен... Я перенес операцию, так что побаиваюсь.

Спасатель медленно выпрямился,

наклонился ко мне, озорно посмотрел мне в глаза и с неожиданным криком «Догоняйте!» правой рукой выхватил у меня трость, а левой столкнул в воду.

Я в ужасе ушел под воду, не сразу поняв, что случилось, но тут провокация оказала свое действие. Я хороший пловец, что называется, от природы, — был таким с детства, даже с

младенчества: мой отец, чемпион по плаванию, кидал своих сыновей в воду в шесть месяцев, когда плавание является инстинктом и ему не нужно учиться. Я счел, что спасатель бросил мне вызов. Ну, я покажу ему! Он держался чуть впереди меня, но я быстрым кролем прошел четыре олимпийских дистанции и остановился только тогда, когда он завопил: «Хватит!»

Я вылез из бассейна — и обнаружил, что иду нормально. Колено теперь работало, оно полностью «вернулось».

Когда на следующий день я увиделся с мистером В.Р., он радостно рассмеялся и сказал:

— Замечательно!

Он расспросил меня о деталях, я рассказал, и он посмеялся еще.

— Молодец! Все правильно сделал! — Тут я понял, что все происшествие, весь сценарий — его рук дело, что он объяснил спасателю, что от того требуется. Я расхохотался тоже.

— Чертовская штука! — сказал мистер В.Р.

— Всегда срабатывает! Что тут нужно — так это спонтанность, нужно обмануть человека, чтобы он начал действовать. И знаете, — он наклонился вперед, — с собаками то же самое!

— С собаками? — переспросил я, глупо моргая.

— Да, с собаками, — повторил он. — У меня был случай; йоркширский терьер — миленькая сучка сломала свою глупую лапку. Я вправил кость на место, все прекрасно срослось, но она продолжала ходить на трех лапах, — все берегла поврежденную, забыла, как ею пользоваться. Так продолжалось два месяца. Не ходила она нормально, и все тут. Так что я отвез ее в Богнор и зашел в море, неся глупышку на руках. Зашел как можно дальше, а потом отпустил и предоставил плыть к берегу. Она прекрасно доплыла и на берег выбралась уже на всех четырех лапах. Та же терапия, что и в вашем случае: неожиданность, спонтанность, каким-то образом вызывающие нужные нам действия.

Мне страшно понравилась эта история и вообще общение с мистером В.Р. Мне было приятно, что он сравнил меня с собакой, — это было гораздо лучше, чем считаться уникумом. И это заставило меня понять кое-что насчет элементарной природы животного и движений животного — насчет спонтанности, музыкальности, оживления.

Спонтанность! Вот в чем дело! Однако как можно планировать спонтанность? Тут было какое-то противоречие в терминах. Спонтанность, игривость — это было до смешного ясно, они были сутью терапии и практики мистера В.Р. — обнаружение какого-то действия, которое было естественным и

осмысленным, выражением воли, находящей удовольствие в самой себе. Как говорил Дунс Скотт[32]: «Что вам приятно? Что приносит вам радость?» Терапия мистера В.Р. была, по сути, скоттовской, он интуитивно пришел к выводу, что все функции коренятся в действии и действие, таким образом, есть ключ к терапии — какое угодно действие: игровое, серьезное, импульсивное, спонтанное, музыкальное, театрализованное.

На следующий день я отправился в наш местный бассейн в Килбурне — тот самый бассейн, в который меня кидал отец сорок лет назад, — и с наслаждением по-скоттовски поплавал. Это было так приятно, что я готов был продолжать плавать вечность: ведь действия, которые доставляют радость, противоположны тем, которые есть труд, — в них нет обязательности, нет изнеможения, а только наслаждение и отдых. Выйдя наконец из бассейна, не усталый, а освеженный, я увидел, что нужный мне автобус поворачивает за угол. Без размышления, чисто автоматически я побежал за ним, догнал и вскочил на подножку. Это были еще две победы по-скоттовски — я не знал, что могу бегать или прыгать, и делай я это намеренно, я потерпел бы неудачу. Ведь еще тем утром я печально сказал себе: «Ты можешь ходить, мой мальчик, но никогда не будешь бегать и прыгать».

В пятницу вечером я отправился в танцевальный зал в Криклвуде. Я с удовольствием наблюдал за танцорами — противопоставляя это той горечи, с какой пять недель назад смотрел на игроков в футбол в Хайгейте. Я ощутил импульс пуститься в пляс самому, но не рискнул бы это сделать — я ведь солидный человек, только что снявший гипс, — если бы компания танцоров весело не окружила меня и не увлекла за собой. Мне не пришлось раздумывать, принимать решение — я был захвачен радостным движением, совершенно естественным, — прежде чем осознал, что происходит.

На следующее утро я спал долго и не проснулся до тех пор, пока в мою комнату не вошла мать со словами: «Вот письмо от профессора Лурии из Москвы».

Я взял письмо, дрожа от возбуждения. Прошло семь недель с тех пор, как я написал Лурии, чувствуя, что он и только он поймет меня. Я начал испытывать страх, когда недели проходили, а ответа не было; раньше Лурия всегда тут же отвечал на мои письма (однако в задержке не оказалось ничего страшного — он просто был на даче). Что он мне скажет? Несомненно, он поделится со мной своими чувствами. Он был не способен на лицемерие, как и на черствость. Может быть, он деликатно намекнет, что я впал в истерику? Я вскрыл письмо, пугаясь собственных мыслей.

Да, да, слава Богу — он поверил мне! Он верил в то, что я ему сообщал, и находил это «чрезвычайно важным»! Он счел мои наблюдения удивительными, но вполне связными — обладающими той «связностью», которой следовало ожидать, учитывая функциональное единство организма. Он находил, что я «открыл новое поле исследований», и считал важным, чтобы я рассказал свою историю.

Ах, что за письмо! Самое замечательное, полное участия, самое доброе письмо в мире! Оно содержало понимание и полную поддержку! Письмо, которое удовлетворяло мои самые сокровенные желания, но именно потому, что они основывались на реальности: на науке, философии, любви к истине, — эти желания и реальность слились воедино.

Пьяный от счастья, я пошел прогуляться по Хэмпстед-Хит. В детстве это было любимое место моих фантазий и игр. В юности я влюбился в него снова. Здесь я мог целыми днями гулять и разговаривать с друзьями. Еще более важным было то, что со временем Хэмистед-Хит стал местом долгих медитаций, когда детские фантазии сменились научными размышлениями и теориями молодого человека.

Я поднялся на Парламентский холм, самое высокое место, откуда открывался чудесный вид во всех направлениях. Я размышлял о том, что случилось за последние девять недель — об удивительном приключении, теперь завершившемся. Я увидел новые высоты и глубины, проник в них, изучил дальние границы ощущений. Теперь я в определенном смысле вернулся на землю, вернулся к более нормальной, обычной жизни, без чрезвычайных обстоятельств и прозрений последних недель. Я был счастлив, но что-то потерял. Мои приключения закончились. Однако я знал, что со мной случилось что-то очень важное, что оставит свой след и решительно изменит меня. В эти недели уместилась целая жизнь, целая вселенная: концентрация опыта, не достигаемая и не желаемая большинством людей, раз уж она произошла, изменила меня и направила в новую сторону.

«Сожалею, что это с вами случилось, — писал Лурия, — однако если такое происходит, нужно только понять и использовать случившееся. Может быть, вам было суждено испытать все, что вы испытали, и теперь определенно ваш долг понять и изучить это. Вы в самом деле открываете новую область».

VII. Понимание

Истинная суть вещей в конце концов — в их жизненной полноте, и когда-нибудь, с предоставляющей лучший обзор точки зрения, чем это было возможно для кого-либо из предыдущего поколения, наши потомки, обогащенные добычей наших аналитических исследований, придут к более высокому и простому взгляду на природу.

Уильям Джемс

Мыслитель и исследователь во мне отдыхали на протяжении счастливых недель выздоровления. Я с каждым днем поправлялся, я был активен, я радовался миру — ситуация больше не была экстремальной.

Однако понимание того, что передо мной стоит проблема — много проблем, — было просто отложено; оно пробудилось, когда я получил письмо Лурии. Если хирург сказал мне: «Сакс, вы уникальны. Я никогда раньше не слышал от пациента ничего подобного», то Лурия писал: «Ваше письмо соединяет воедино то, что я выслушивал в виде фрагментов на протяжении последних пятидесяти лет». Почему такие ощущения столь редко описываются и что лежит в их основе? «Тело представляет собой единство действий, и если часть тела отстранена от действия, она делается «чуждой» и не ощущается как часть тела». Это хорошо описано, писал Лурия, в отношении церебральных поражений, особенно когда они происходят в правом полушарии мозга, в сенсорной (париетальной) доле. Он приводил в пример синдром Поцля, когда в результате инсульта или опухоли левая половина тела или часть ее игнорируется, ощущается как чужая и нереальная. Именно такой была и моя первая мысль — что я, должно быть, перенес инсульт во время наркоза. Однако подобные синдромы едва ли были описаны как последствие периферического поражения.

Тем не менее, считал Лурия, вполне можно ожидать появления таких негативных феноменов — отчуждения, ощущения нереальности, безразличия, невнимания — в случае периферического повреждения, потому что «организм — единая система и как таковая может проявлять системный упадок, было

ли исходное поражение центральным или местным». Однако врачи, хирурги и неврологи, могут относиться к подобным жалобам пациентов «негостеприимно», и пациентам бывает трудно передать свои ощущения: больной может промолчать, а врач может не услышать. Поэтому необходимо, чтобы пациент был необычным — возможно, чтобы он сам был врачом и особенно нейропсихологом, — для того чтобы в полной мере выявить характер испытываемого нарушения.

Письмо Лурии содержало важнейшее одобрение и поддержку, как и многие другие письма, которые он позднее писал мне; оно укрепило мое решение, принятое еще в больнице, провести исследование всей проблемы. Находясь в больнице, я был пациентом, встревоженным и испуганным, стремящимся преодолеть свои личные неприятности. Теперь я мог стать врачом и исследователем. Я работал невропатологом во многих учреждениях и лечил многие сотни неврологических больных с самыми разнообразными заболеваниями. Я проведу самое тщательное исследование — и клиническое, основанное на беседах, и физиологическое с использованием арсенала электрофизиологических методов: изучение электрического потенциала поврежденных (или по другой причине не действующих) нервов и мускулов, так называемых вызванных потенциалов в спинном и головном мозгу, в особенности в соматосенсорной коре, «конечной станции» в мозгу, где нервная активность организуется в форме образа тела.

Если бы не мое собственное увечье и переживания, вряд ли, думаю, я начал бы исследование такого типа. Раньше мои интересы касались совсем других областей — изучения мигрени, паркинсонизма, постэнцефалических синдромов, синдрома Туретта. Я мог не заинтересоваться нарушениями образа тела, если бы сам не пережил подобное нарушение в столь ярко выраженной форме. Однако пережив его — и оказавшись полностью непонятым,

— я испытал страстное желание докопаться до истины в этом вопросе: установить благодаря клиническим и физиологическим исследованиям, что в самом деле происходит, и достичь, если удастся, полного понимания феномена. Разве не было это, как сказал Лурия, «совершенно новой областью»?

Если мои собственные переживания служили побудительной причиной, то они могли дать мне весьма специфические данные для решения этой задачи. В отличие от моего врача (и «ветеринаров», как их назвал Лурия, в целом) я мог теперь полностью понять переживания моих пациентов, вообразить себе их чувства и сделать для себя доступными эти сферы страданий.

Я стану слушать больных, как никогда раньше не слушал, — все их полупонятные сообщения о путешествии по стране, которую я так хорошо знал.

В то время я не представлял себе, есть ли у меня предшественники в этой области, и только по прошествии нескольких лет я их обнаружил. Эту странную ситуацию я описал в статье, опубликованной в «Лондон ревью оф букс» (London Review of Books. 1982. V. 4. N 11).

Я узнал о существовании описаний, сходных с моими, только через три года после своего несчастного случая. Потом в быстрой последовательности я обнаружил три таких отчета: Уэйра Митчелла, основанного на его опыте во время Гражданской войны в США, Ж. Бабинского — целую книгу, написанную во время Первой мировой войны, и А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца, описавших увечья 200 солдат во время Второй мировой. Хотя все эти авторы — известные ученые, и их отчеты имеют огромную важность, я никогда не встречал никого, кто слышал бы об этих работах и уж тем более их читал, — и это странное забвение распространяется и на самих авторов. Уэйр Митчелл «забыл» о своем «негативном фантоме»; Бабинский «забыл» о «syndrom physiopathiqui»[33], а Лурия «забыл» о работе Леонтьева — несмотря на то что она была им вдохновлена и даже посвящена ему.

Особенно меня заинтересовал Уэйр Митчелл. Будучи молодым невропатологом, работавшим с перенесшими ампутацию во время Гражданской войны в США, он опубликовал «клинический роман» под названием «Случай Джорджа Дедлоу». Это была воображаемая и замечательно образная история болезни врача, у которого были ампутированы все конечности. Воображаемый врач-пациент, Джордж Дедлоу, писал: «К своему ужасу, я обнаружил, что временами я меньше осознаю себя, свое собственное существование, чем раньше. Это ощущение было настолько новым, что я совершенно растерялся... Хорошо понимая, что могу выглядеть странно, я воздерживался от разговоров о своем случае и стремился более пристально анализировать свои чувства... Это был, насколько я могу его описать, дефицит эгоистического восприятия индивидуальности».

Далее Дедлоу приписывает свои чувства, глубокие специфические дефекты того, что мы теперь называем образом тела или телесным Эго, «вечному молчанию... нервных узлов, обслуживающих конечности». Интересно отметить, что У. Митчелл опубликовал этот «клинический роман» прежде своих знаменитых медицинских описаний фантомных болей. Возможно, он считал, что публика — наделенные воображением читатели —

может обратить внимание на вещи, которые его коллеги сочли бы фантастическими.

За годы своей практики я лечил около 400 пациентов, дополняя, когда это было возможно, клинические беседы видеозаписью и электро-физиологическими обследованиями. Одной из больных — типичных для этой группы — была пожилая леди с вялой парализованной левой ногой. Сначала я предположил, что она перенесла инсульт; однако, как выяснилось, у нее был сложный перелом бедра, который потребовал не только хирургического вмешательства, но и длительного пребывания в гипсе. Ни функции, ни чувствительность в конечности не восстановились, хотя прошло уже три года после операции. Анатомически нервы не были повреждены, сохранялась нормальная проводимость, но мышцы оставались полностью лишены тонуса и демонстрировали «электрическое молчание» — отсутствие какой-либо функциональной или постуральной иннервации. Сама пациентка оценивала свою ногу как отсутствующую. Контрольное изучение вызванных потенциалов в сенсорной коре соответственно указывало на отсутствие объективной нервной информации от ноги — объективный провал в образе тела. (Хотя никакие произвольные движения не были возможны, иногда возникали спонтанные, невольные движения, нога постукивала в такт музыке. Это наводило на мысли о возможности музыкальной терапии — обычная физиотерапия результатов не давала. Используя опору (ходунки и т.д.), мы смогли постепенно побудить пациентку танцевать и наконец добились фактически полного выздоровления, несмотря на то что нога три года не функционировала.)

Я изучил данные о почти пяти десятках случаев периферической невропатии — тяжелых сенсорных (а иногда и моторных) поражениях рук и ног, обычно связанных с диабетом. Все эти больные чувствовали, что их конечности отсутствуют или являются чужеродными объектами, прикрепленными к культе руки или ноги. В этих случаях также изучение вызванных потенциалов показывало тяжелое поражение или отсутствие перцептивной информации и репрезентации в соответствующих областях сенсорной коры: объективно демонстрируемую потерю образа руки или ноги.

Двести пациентов перенесли повреждения спинного мозга — или вследствие болезни, или в результате анестезии. Многие из этих больных, когда их поощряли к свободному разговору, что не часто делается в обычной неврологической практике, предлагали странные описания своего состояния. Несколько человек с

переломом шейного отдела позвоночника, описанные Генри Хэдом (см. «Неврологические исследования»), чувствовали, что состоят «только из головы и плеч». Такие катастрофические потери образа тела ясно подтверждались исследованиями вызванных потенциалов.

Я обследовал десятки пациентов, перенесших ампутацию, у которых возникали позитивные фантомы, негативные фантомы или и те и другие. В этих случаях также нарушения или дефекты образа тела, часто странные и пугающие, обнаруживали объективную корреляцию с поражениями восприятия и репрезентации в коре.

Эти многочисленные наблюдения и данные исследований на протяжении ряда лет дали ясный ответ на первый из моих вопросов: возникают ли тяжелые нарушения образа тела или телесного Эго в результате периферического поражения, болезни или увечья? Ответ представляет собой решительное «да».

Такие нарушения, как и полагал Лурия, весьма распространены: более того, они почти неизбежны и, возможно, универсальны, если имеет место соответствующее нарушение периферической чувствительности или функционирования.

Более того, эти данные предложили ответ и на вторую часть вопроса: если подобные нарушения так распространены, почему они обычно не фиксируются? Позволяя своим пациентам описывать свои ощущения полно и свободно, не ограничивая их какой-либо нейрологической инструкцией, я снова и снова получал описания эмоциональной и экзистенциальной интенсивности, никогда (или почти никогда) не встречающиеся в научной литературе. Каждый пациент с тяжелым поражением образа тела страдал в равной мере от тяжелого поражения телесного Эго. Мне становилось все более ясно, что каждый пациент приобретает глубочайший онтологический опыт, сопряженный с распадом, растворением, аннигиляцией бытия в пострадавших частях, что сопровождается элементарной отчужденностью, чувством нереальности и столь же элементарными тревогой и ужасом. За этим следует, если больному повезет и он поправится, не менее элементарное чувство возвращения реальности и радости. Каждый такой случай, если использовать средневековый термин experimentum suitatis (эксперимент на себе), есть элементарное изменение себя, имеющее совершенно очевидный органический нейрологический базис. Была ли неврология, эмпирическая дисциплина, достаточно оснащена, чтобы принимать во внимание такие радикальные перемены в реальности или идентичности? До какой степени могла она позволить таким ощущениям проявляться?

Классическая неврология основывается на концепции функции — сенсорной функции, моторной функции, интеллектуальной функции и т.д. Ее самым выдающимся представителем в Англии был сэр Генри Хэд (1861—1940). Среди многих его интересов было постоянное изучение природы чувствительности, в чем он был выдающимся первопроходцем. Некоторые из его самых ранних наблюдений основывались на экспериментах на себе. Он подробно описывал последствия рассечения периферического нерва на собственной руке. Изучение чувствительности привело его к представлению о схеме, или образе, тела в мозгу, благодаря которой тело «знает» и контролирует собственные движения. Наблюдения более чем за двадцать лет были обобщены в его выдающемся труде «Неврологические исследования» (1920). Однако давайте посмотрим, как Хэд описывает глубокое сенсорное поражение:

«Пациент был совершенно не способен опознать положение, которое придавали его нижним конечностям. С его щиколотками, коленями и бедрами можно было производить экстенсивные движения неведомо для него. Если его глаза были закрыты, его вытянутые ноги можно было перемещать в любом направлении, а колено — сгибать на 40 градусов; при этом он все еще полагал, что ноги вытянуты перед ним на постели. Когда ему разрешали открыть глаза, выражение изумления ярко свидетельствовало о величине его заблуждения».

Это прекрасное описание. Мне оно напоминает в точности то, что случилось, когда я попросил сестру Сулу переместить мою ногу. Все абсолютно точно — но достаточно ли этого?

У меня была пациентка с точно такой же патологией: метастазами раковой опухоли, затрагивавшими несколько сенсорных спинальных нервов, что было связано также с поражением некоторых позвонков. Однако ее ощущения были гораздо более странными, удивительными и шокирующими. «Мое бедро исчезло, — говорила она. — Раз — и нету». Термины, которыми пользуется Хэд, — термины классической неврологии — совершенно адекватны для описания полной потери функции, но они не могут описать исчезновение, потому что оно — не только потеря функции. Такое ощущение может последовать за потерей функции, но само по себе оно нечто большее.

До тех пор пока Хэд ограничивается тестированием функций и использованием соответствующих терминов, его описания упускают нечто жизненно важное, экстраординарное. Но позволим ему на мгновение забыть неврологический язык и просто дать слово пациентам. В таких случаях (их немного) выясняется нечто совершенно поразительное. Так, мы читаем о

пациенте, который жаловался на то, что «его правая нога ощущается в точности как нога из пробки», или о лейтенанте У., который разбился на самолете и понял, что повредил спину, потому что почувствовал, что «имеет только голову и плечи». Нельзя сказать, что Хэд не проявлял личного интереса к пациентам. Мой отец, который был у него стажером шестьдесят пять лет назад, рассказывал мне, что Хэд «был полон любопытства и симпатии» и его зачаровывали странные описываемые пациентами ощущения. Однако как невролог он исключал такие описания и только редко и случайно упоминал о них. Им никогда не придавалось главенствующего значения. Так, похоже, обстоит дело и с классической неврологией в целом — стремясь создать строгую теорию функций, она исключает любые наблюдения, выходящие за эти рамки. Когда неврология, так сказать, забывается, она может их пропустить и быть точной и прозрачной в описании ощущений пациентов, но стоит ей вернуть свою эмпирическую строгость, как описания становятся расплывчатыми.

Как это ни парадоксально, только на рассвете, на донаучном этапе, до того как неврология оказалась слишком огорожена собственными концепциями, она была полностью открыта для исследования опыта. Так, в I860— 1870 годы, во время Гражданской войны в Америке, Уэйр Митчелл проявил восприимчивость к идее фантомных конечностей и к экзистенциональным нарушениям, так живо описанным в «Джордже Дедлоу». Уэйр Митчелл сообщает о наличии таких симптомов у сотен пациентов. Однако на рубеже веков подобные описания становятся чрезвычайно редкими. В неврологии не оказывается места для чего-то экзистенциального.

В то время как классическая неврология сохраняла и продолжает сохранять свою важность и остается незаменимой для изучения «низших» функций, постепенно становилось ясно, что требуется новый подход, новая наука. Эта потребность достигла кризиса во время Второй мировой войны. Новая наука нейропсихология, предзнаменования которой появились в 1930-е годы, достигла совершеннолетия в Советской России и особенно в трудах Лурия (РА. и А.Р — отца и сына), Леонтьева, Бернштейна и других. Во время Первой мировой войны немногое делалось — и могло быть сделано — для пациентов с неврологическими повреждениями. Они получали физиотерапевтические процедуры в надежде, что время и природа придут на помощь. К появлению нейропсихологии во время Второй мировой войны привел спрос на нейротерапию; родились концепции, выходившие за рамки функции. Было обнаружено, что больные с поражениями мозга и

иными неврологическими поражениями испытывают странные трудности в деятельности. Нейропсихология имела целью стать наукой, изучающей действие, и ее центральной концепцией стала не функция, а «функциональная система» и «производительность».

Классическая неврология была по сути статичной: ее моделью была модель фиксированных центров и функций. Нейропсихология же, с другой стороны, по сути динамична: она рассматривает бесчисленные системы в постоянном взаимодействии и взаимовлиянии. «Организм — единая система», — писал Лурия, и это и есть кредо нейропсихологии. Картина, которая возникла, была картиной великолепной, саморегулирующейся динамичной машины, и ее величайший теоретик, Н.А. Бернштейн, является истинным основателем кибернетики — за пятнадцать лет до Нормана Винера.

Эта великолепная машина обладает «программами», «энграммами», «внутренними образами», «схемами» — способами действия, процедурами, которые можно анализировать и которыми можно в определенной мере управлять. Там, где классическая неврология довольно беспомощно говорит о снижении функции, нейропсихология более конструктивно выявляет пораженную систему или взаимодействие систем и пытается добиться реабилитации благодаря развитию новой системы или системы систем, что становится возможно благодаря свободе, пластичности нервной системы. Силы теории и практики с этой точки зрения делаются огромными. И тем не менее, как это ни удивительно, они остаются почти нереализованными на Западе.

Революционной книгой, которую я мельком упомянул, является «Восстановление движения. Исследование функции руки после ранения» А.Н. Леонтьева и А. В. Запорожца. Я ни разу не встречал коллег, которые бы ее читали, хотя в 1948 году она вышла в английском переводе. В ней описывается синдром, сходный с моим собственным, у 200 солдат с хирургически излеченными поражениями руки. Несмотря на анатомическую и неврологическую целостность, по крайней мере в терминах классической неврологии, в каждом случае имели место глубокое расстройство и неработоспособность. Излеченные руки оставались бесполезными и ощущались как чужие их владельцами, подобно предметам или «поддельным рукам», прикрепленным к запястьям. Леонтьев и Запорожец говорили о «внутренней ампутации», связанной с «диссоциацией гностической системы», нормально контролирующей руку и подтверждающей ее наличие, как следствии инактивации в силу

ранения и операции. Цель терапии, таким образом, — вызвать реинтеграцию «расколотых» гностических систем. Как это делается? Благодаря использованию рук. Однако это не может быть сделано прямо или целенаправленно (иначе диссоциация вообще не развилась бы). Команды произвести движение бессмысленны, они не работают. Что нужно, так это придумать какой-то «фокус» — например, занять пациента сложной деятельностью, в которую неумышленно вовлекается рука. Отчужденную часть, так сказать, обманом заставляют действовать, сделав участницей сложной деятельности. В тот момент, когда такое случается,

— а обычно это происходит внезапно, — ощущение нереальности, отчуждения исчезает, и рука неожиданно начинает чувствовать себя живой, больше не довеском, а частью человека.

Все это очень похоже на то, что случилось со мной, на то, что происходит с моими пациентами и чего я стараюсь от них добиться. Правильность подобных нейропсихологических процедур доказывается тем, что они так хорошо работают. И тем не менее нужно все время задумываться о том, адекватны ли концепции и не срабатывают ли процедуры потому, что выходят за пределы концепций.

Как когда Хэд изредка забывается и без комментариев описывает опыт некоторых своих пациентов — что они ощущают свои ноги как пробковые или что они состоят только из головы и плеч, — так и наиболее красочные части книги Леонтьева и Запорожца описывают реальный опыт: руки, ощущаемые как «чужие», «мертвые», «нереальные», «прикрепленные». Анализ, формулировки значительно менее убедительны. В книге имеется странная двойственность, несоответствие: формулировки механистичны, аналитичны, кибернетичны, используют исключительно термин «системы», в то время как описываемые ощущения и действия пациентов касаются Эго, личности. Если рука «чужая», то она «чужая» для вас; если что-то делается, это делаете вы. Но «вы» или «я», формально присутствующие имплицитно, эксплицитно отрицаются или отвергаются. Отсюда странное двоякомыслие книги, странное двоякомыслие нейропсихологии в целом.

«Организм — единая система», но какое отношение система имеет к реальной живой личности? Нейропсихология говорит о внутренних образах, схемах, программах и т.д., но пациенты говорят об опыте, ощущениях, желаниях, действиях. Нейропсихология динамична, но все еще схематична, в то время как живые существа — это свободные личности. Это обстоятельство не отрицает того, что системы вовлечены, но

свидетельствует о том, что системы коренятся в личности и нередко управляются ею.

Нейропсихология, как и классическая неврология, стремится быть совершенно объективной, и именно отсюда исходит ее великая сила, ее прогресс. Однако главной особенностью живого существа, и человека в особенности, является активность субъекта, а не объекта, а как раз субъект, живое «я», и оказывается исключен. Нет сомнения, что Лурия сам это чувствовал, — это заметно по всем его работам, но особенно — по работам последних лет. Он был вынужден, как он однажды написал мне, создавать два сорта книг — «систематические» (например, «Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга») и те, что он любил называть неврологическими биографиями или романами, в центре которых страдающее, действующее «я» («Потерянный и возвращенный мир», «Маленькая книжка о большой памяти»). Его ранние работы всецело объективны, однако под конец жизни он, не жертвуя объективностью и точностью, все более сосредоточивался на субъекте. Он чувствовал, что это самое главное, что врач должен полностью погрузиться в действительные ощущения пациента, выйти за границы чисто «ветеринарного» подхода.

Мы видели, что опыт, который имел я сам, достаточно распространен, даже универсален при условии критической степени нарушений восприятия, или «афферентного поля», как любил говорить Леонтьев. Более того, мы видели, что объективный и эмпирический характер неврологии препятствует какому-либо учету субъекта, «я». Должно что-то случиться, что-то весьма радикальное, чтобы избежать этого противоречия, этого тупика. Пришло время сделать следующий шаг. Классическая неврология утвердила себя — утвердила еще к 1920-м годам — и навсегда сохранит непреходящую важность. Нейропсихология утвердилась к 1950-м годам и также навсегда сохранит непреходящую важность. Что нам нужно теперь, что нужно для будущего, так это неврология личности, идентичности.

Существует множество указаний на то, что время для этого пришло. В церебральной неврологии, в особенности в последние пятнадцать лет, возник кризис. «Высшие корковые функции» Лурии, впервые изданные в I960 году, всесторонне рассматривали функциональные системы левого полушария, но почти не затрагивали правое. Метод высших корковых функций для правого полушария не срабатывает. На каждую статью о правом полушарии приходится тысяча публикаций о левом, в то время как нарушения возникают в равной степени в обоих. Однако синдромы правого полушария, как, например, синдром Поцля,

носят чрезвычайно странный характер и обычно принимают форму изменений идентичности. Такие изменения не поддаются анализу как нарушения функций — их нужно рассматривать как личностные нарушения. Наши ограничения и потребности находят все большее осознание.

Этот кризис 1980-х годов странно напоминает другой кризис, случившийся двести лет назад. Эмпирическая философия, послужившая моделью для эмпирической науки, достигла своего апогея в работах Д. Юма, который довел ее до предела, заставил философию и себя прийти к глубокому противоречию.

«Я позволю себе утверждать, что мы — всего лишь коллекция, собрание различных восприятий, следующих одно за другим с невероятной быстротой в постоянном течении и движении».

В результате Юм был вынужден заключить, что «личностная идентичность» — фикция. Однако это заключение вступило в противоречие с его глубочайшими чувствами: он назвал его «химерой» и был доведен до «философского отчаяния».

Это отчаяние, этот тупик был преодолен в 1781 году, когда И. Кант опубликовал свою «Критику чистого разума». И мое собственное отчаяние, мой собственный тупик были преодолены, когда я прочел эту книгу. Я имел опыт переживания «я», который не мог отрицать, но который не признавала нейропсихология, где не было места для «я». Этот кризис заставил меня обратиться к Канту. Здесь я нашел то, чего не мог мне дать анализ, — концепцию синтетических априорных интуитивных знаний, которая давала возможность организовать и понять опыт: априорные знания о пространстве и времени структурировали опыт и поддерживали представление об Эго, о «я». Эти формулировки дали мне, как я полагаю, основания того, что я называю «клинической онтологией» или «экзистенциальной неврологией», — неврологии личности в распаде и создании. Ключевой для меня пассаж в «Критике чистого разума» следующий:

«Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, т.е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния. В самом деле, время не может быть определением внешних явлений: оно не принадлежит ж к внешнему виду, ни к положению и т.п.; напротив, оно определяет отношение представлений в нашем внутреннем состоянии... Пространство... чистая форма внешнего чувственного созерцания... оно a priori доставляет только многообразное в созерцании для возможного знания... Время есть априорное условие всех явлений вообще; оно есть непосредственное условие внутренних явлений (нашей души) и тем самым косвенно также условие внешних явлений»[34].

Нормальный опыт, в терминах Канта, соединяет внешние явления с внутренними состояниями, внешнее и внутреннее интуитивное знание, пространство и время. Однако меня особенно интересовала на основании собственного опыта и наблюдений возможность существования радикального дефекта восприятия, который может проявляться во внутренних состояниях, внешних явлениях или тех и других. Именно такой радикальный подрыв восприятия, как мне представлялось, и составлял суть и моего опыта, и тех беспорядочных ощущений, которые описывали мои пациенты. Такой опыт, элементарные нарушения ощущений были непонятны, пока не получили освещения формулировками Канта.

Скотома, в терминах Канта, была полным нейро-онтологическим угасанием (или «альканной»). Физически, физиологически имело место отсутствие нервных импульсов, образов и поля; однако метафизически или онтологически это — отсутствие разума и его конструктов, пространства и времени. «Трепетание» — такое, как испытанный мной бред несвязных образов ноги или кинематическая «обезвремленная» несвязность ауры при мигрени, представляется промежуточным состоянием создания или распада реальности и как таковое состоящим из несвязанных внешних явлений, лишенных внутреннего содержания или артикуляции во времени. Музыка, напротив, не имея отношения к внешним явлениям, является прототипом внутреннего содержания, внутреннего существования, души.

Как раз в музыке и было то, что нужно, — беспрепятственное течение внутренних состояний, неделимых, взаимопроникающих, «бергсонианское» внутреннее время: на таинственную природу действия был пролит свет. Как это ни парадоксально, казалось, что действие не может быть сведено к процедурам, к некой последовательности или серии операций. Действие, по сути, было потоком, внятным потоком, потоком искусства, который можно уподобить мелодии. Без этого живого потока, этой кинетической мелодии и высказывания, без превращения в того, кто течет и высказывает себя, вообще не могло быть действия, не могло быть ходьбы. Это и был «ответ» на solvitur ambulando.

Радикальная и живая природа действия, даже простейших «животных» движений, находит соответствие и подтверждение в том, что происходит, если они устраняются: в радикальном угасании, пустоте, «мертвенности» скотомы. И все же эти две сущности — Бытие и Ничто — странно, даже комично неуловимы, по крайней мере в обычном медицинском диалоге. Отсюда тупик, возникавший между хирургами и мной, когда я заговаривал на эту тему: «Это не наше дело». Тогда чье же это дело —

действительно, чье? — и что это за дело, дело движения, бытия и пустоты? Нужно соприкоснуться изнутри, соприкоснуться самому с этим радикальным коллапсом ощущений, радикальным коллапсом «категорий», элементарного пространства и времени, чтобы понять суть дела; дело-то попросту кантианское.

Радикальное угасание, распад, связанный со скотомой, радикальное воссоздание пространства и времени, связанное с выздоровлением, радикальная, трансцендентная природа их обоих не могут быть объяснены меньшим, чем кантианская формулировка. Их нельзя объяснить методами классической неврологии или нейропсихологии, поскольку они были пре-кантовскими эмпирическими науками. Наука, которая нужна, чтобы исследовать полный спектр ощущений, испытываемых пациентом, должна быть трансцендентной, кантовской наукой.

Вот к чему я пришел и чем завершил свою последнюю книгу «Пробуждения» в ее последней редакции, вышедшей из печати в 1983 году. И хотя затронутая область и феномены столь различны, там содержалось то же, чем я заканчиваю эту книгу.

Хотя все это в определенной мере представляется парадоксальным и трудным для понимания, это самая простая и самая очевидная вещь на свете. Это не более и не менее чем открытие, открытие заново действительной позиции человека, действительных оснований его опыта. Кант писал: «Синтетическое единство многообразного [содержания] созерцаний как данное a priori есть основание тождества самой апперцепции, которая a priori предшествует всему моему определенному мышлению»[35].

Так что в этом смысле приход к Канту и кантианской науке имел для меня оттенок ностальгии, воспоминания, возвращения к тому, что я каким-то образом всегда чувствовал и знал. Мой разум успокоился, оказавшись дома.

И вот я испытывал чувство завершения огромного путешествия. Стоя на вершине Парламентского холма в последний день своего выздоровления, я видел перед собой странные просторы. Они уходили в невообразимое будущее и в то же время, казалось, возвращали меня к самым ранним мыслям и чувствам. Так что мое путешествие вело одновременно вперед и назад — но такова, похоже, природа мысли; она приводит к собственному началу, лишенному времени дому разума.

> И конец всех наших исследований —
> Прибыть туда, откуда мы начали, и
> Увидеть все в первый раз.

Элиот

Послесловие 1991 года

В январе 1984 года — я только что закончил долго вынашиваемую рукопись книги «Нога как точка опоры» — я снова упал, на этот раз совсем не романтично, поскользнувшись на замерзшей луже в Бронксе, вовсе не удирая (как в 1974 году) в горах от быка. Я порвал связку правой четырехглавой мышцы, а также заработал вывих правого плеча. На сей раз не было долгого ожидания смерти на горном склоне, не было долгого путешествия по суше и морю; через два часа после несчастного случая меня срочно прооперировали.

Тогда, в 1974 году, я просил, чтобы операция проходила под спинальным наркозом; в этот раз я обратился с той же просьбой, и она была удовлетворена. В результате спинальной анестезии я утратил всякое ощущение своих ног, вообще всей нижней части тела; я не ощущал, что мои ноги и бедра, которые я мог видеть в зеркале над операционным столом, были в каком-либо смысле моими. Теперь я в фундаментальном отношении «заканчивался» в середине, и то, что отражалось в зеркале, эти так называемые ноги и бедра, моим не было. Моя нижняя половина была, так сказать, полностью «ампутирована». Нельзя сказать, что она ощущалась как отсутствующая. Совсем наоборот: у меня не было чувства, что чего-то не хватает; я, как и раньше, ощущал свою полную законченность. Казалось, я никогда не имел никаких ног, никаких бедер или ягодиц, вообще никакой нижней части, как если бы эта часть у меня с рождения отсутствовала.

Я был скорее зачарован, чем испуган этим ощущением, потому что оно было идентично тому отчуждению, которое я испытал много лет назад в отношении своей другой ноги; я также знал, что все вернется к норме, когда закончится действие анестезии. И все же это предчувствие было странно смутным и теоретическим, потому что в таком состоянии невозможно представить себе, что нижняя часть вернется, невозможно вспомнить, что значит быть «целым». В отчужденной части тела нет никакого смысла. Спинальная анестезия приводит человека в невообразимое состояние — самое подходящее, не мог я не подумать, для читателей «Нога как точка опоры». Пусть все они прочитают эту книгу под спинальным наркозом — тогда они будут в точности знать, о чем я говорю!

Тогда, много лет назад, в процедурной, когда моя отчужденная левая нога впервые была освобождена от гипса, я видел ее как искусно выполненный безжизненный восковой муляж из анатомического музея, и именно так сейчас выглядели

для меня обе мои ноги, отражавшиеся в зеркале над операционным столом. Я наблюдал за операцией с чем-то вроде эстетического удовольствия, с чувством полной непричастности и отчужденности: это не мою ногу оперировали, а какой-то дубликат, не имеющий ко мне отношения[36].

С правой ногой не было сильнейшей контузии и отека, сопровождавших первое увечье; не было признаков серьезного повреждения бедренного нерва. Операция была гораздо более легкой и простой и длилась не больше двух часов. Более того, мне наложили гипс, позволявший ходить; мне велели вставать и опираться на ногу уже на следующий день. Я не мог не сравнивать этого с пятнадцатью днями неподвижности после первой операции, с пятнадцатью днями неизвестности, проведенными в инвалидном кресле или в постели.

На следующий день я и в самом деле встал и сделал несколько шагов, цепляясь за ходунки; весь мой вес приходился на гипсовую повязку. Всего полдюжины неуверенных шагов, но и этого было достаточно, чтобы показать мне: устрашающая ситуация десятилетней давности не повторилась. Я был ужасно слаб, но я знал, как ходить; нога ощущалась как часть меня, не было и намека на отчуждение. Теперь было легко, вернувшись в постель, упражнять ногу, напрягать мышцы, наращивать мускулы; легко было, стоя на здоровой ноге, сгибать пострадавшую в бедре, раскачивать ее из стороны в сторону, поддерживать хороший мышечный тонус. Я чувствовал, как с каждым часом ко мне возвращаются силы и уверенность в себе. Физиотерапевт ободрял меня и радовался моим успехам: «Вы — один из легких пациентов. У вас нет никаких проблем».

— А какие могут быть проблемы? — поинтересовался я. — И каковы тяжелые пациенты?

— Ох, вы просто не поверите... такое иногда бывает! Некоторые больные с повреждением четырехглавой мышцы говорят, что не могут чувствовать свою ногу, что она им не принадлежит, что они не могут ею двигать, что они забыли, как ею пользоваться. Вы просто не поверите!

— О, я-то как раз поверю, — ответил я и рассказал о своих прежних переживаниях.

В тот первый раз, вернувшись в Лондон, я обнаружил запись в своей истории болезни: «Выздоровление без происшествий», — в то время как в действительности имели место почти невообразимые превратности и количественные (и почти экзистенциальные) перемены, которые нельзя было предвидеть, которые нужно было пережить по очереди, Ничего этого не было во второй раз: ничего не было потеряно, ничего не было выведено

из действия, ничто не было забыто и не нуждалось в выучивании заново[37]. Выздоровление во второй раз было спокойным — оно не характеризовалась ни одним из феноменов, отличавших первый случай. Загадка была в другом: почему не было изменений восприятия и внутреннего образа ноги? Почему не было эрозии, забвения идентичности ноги или волевого ею управления?

Что сделало повреждение четырехглавой мышцы в первый раз «плохим», а во второй — «хорошим»[38]?

На этот раз меня заинтриговал и еще один момент: нарушение образа тела было иным, неожиданным, вызванным иными причинами, но проливающим свет на великую пластичность образа тела. Я заработал, помимо разрыва четырехглавой мышцы, еще и вывих правого плеча, на которое наложили не гипс, а тугую повязку. Однако будучи выраженным правшой и испытывая сильную потребность писать как обнаружилось, теперь писать я мог только левой рукой, мучительно медленно, крупными детскими буквами, я постепенно ослабил повязку в яростных попытках писать правой рукой. Заметив это, хирург счел необходимым полностью обездвижить руку и наложить на плечо гипс. Через несколько часов после этого у меня возникло чрезвычайно странное чувство деформированности — я как будто потерял плечо и большую часть руки. Более того, я не мог вспомнить своего плеча и верхней части руки — мне казалось, что их у меня никогда и не было, как будто я родился без них. Когда я пожаловался на это, хирург велел гипс снять и вернуться к прежней повязке, со строжайшим наказом использовать для письма только левую руку. Через час или два мое плечо вернулось[39].

Все выглядело так, словно образ тела может меняться, адаптироваться на протяжении нескольких часов, в зависимости от подвижности, от возможности использовать разные части тела. Это значит, что они не имеют фиксированной репрезентации в мозгу, как можно подумать при рассмотрении так называемых классических фигур сенсорного или моторного гомункулюса. Не возможно ли, что при ампутации или инактивации конечности часть образа стирается, а остальная часть образа тела расширяется и занимает ее место?

Эти и подобные мысли заполняли мою голову во время пребывания в больнице после операции,

настоятельно желая быть выраженными. Раз мне было запрещено писать правой рукой, я писал левой; когда меня начинала сводить с ума медленность процесса, я пытался диктовать. Я позвонил своему издателю и сообщил о несчастном

случае.

— Ах, Оливер, — сказал он раздраженно, — чего только вы не сделаете, чтобы получить материал для примечаний[40]!

Однако я не мог забыть о пережитом, хоть и отправил в дальний регион сознания, где данные могли бессознательно обрабатываться. В течение десяти лет оставался изводивший меня вопрос: почему? — на который так полностью и не был получен ответ и который так и оставался неразрешенным в книге. Мне так и не стало ясно, что случилось в 1974 году, и никакие объяснения, которые я получал или о которых читал, меня не удовлетворяли. У меня был несколько поврежден бедренный нерв, но это могло самое большее вызвать некоторую местную слабость и онемение, а не полное моторное и сенсорное выключение, амнезию, идеационное угасание всей ноги. Вся ситуация была пугающей и травматичной, она стала предметом интенсивных размышлений, не напоминая при этом ни защитную диссоциацию, ни истерию. Если нарушение не было ни неврологическим в классическом (анатомическом) смысле, ни психиатрическим в классическом (динамическом) смысле, то чем же оно было?

В 1880-е годы великий невролог Ж. Шарко предложил обсудить исследования двух своих учеников — Бабинского и Фрейда — по дифференциации органического (неврологического) и истерического паралича. Органический паралич, как обнаружил Фрейд, имел паттерны, строго соответствующие нейроанатомии, с установленным распределением нервов, спинальных трактов и их центров в мозгу. Истерический паралич, напротив, не следовал этим паттернам — он был выражением не анатомического повреждения нервной системы, а следствием концепций и чувств, вызванных психической травмой, но благодаря психологической защите диссоциированных и подавленных. Органический паралич понятен в анатомическом смысле, но не имеет (неотделимого) психического компонента; истерический паралич понятен в психическом (психодинамическом) смысле, но не имеет лежащего в основе анатомического компонента. Органический паралич, согласно Фрейду, является «физическим», а истерический (и, как следствие, все остальные) — «психическим».

Все это казалось достаточно ясным — таким рабочим различением могли пользоваться все неврологи и психиатры. Истерию часто называют великим подражанием, потому что истерический паралич часто подражает органическому и для дифференциальной диагностики требуется характеризация и уточнение. Однако вопрос Шарко оказывался в результате дуалистическим требованием развести физическое и психическое.

К несчастью, это имело дальнейшие и, возможно, ненамеренные последствия — требование, чтобы все параличи, анестезиасы и случаи неиспользования, отчуждения, если они сразу же не оказывались объяснимы анатомически, по умолчанию относились к истерическим или психическим. Это отвергало, это парализовало изучение или понимание любых других состояний — таких, как «паралич рефлексов» и «негативные фантомы», описанные Уэйром Митчеллом; менее драматичным, но более распространенным было сохранение конечности в щадящем положении после травмы, которое может длиться гораздо дольше, чем само повреждение (феномен, наблюдаемый не только у людей, но и, как отметил мистер В,Р., у собак). Это препятствовало исследованию отчуждения, «угасания» и анозогнозии. Ни одному из этих нейропсихологических нарушений образа тела и «я» не отводилось места на научной карте.

Практика Фрейда — сначала неврологическая, затем аналитическая — не привела его к контактам с подобными случаями, подобными феноменами; однако Бабинский ими занимался, особенно во время Первой мировой войны. Книга Бабинского, вышедшая в 1917 году, обобщала множество наблюдений за параличом, отчуждением, неиспользованием и другими синдромами, возникающими вследствие периферических поражений, синдромов, которые не могут быть названы ни органическими, ни истерическими, — синдромов, которые, как считал Бабинский, составляли «третью область» и требовали совершенно иного понимания. Такие синдромы, был уверен Бабинский, по природе физиологические; он говорил них, как и в названии своей книги, как о Syndrome Physiopathique. Подобно Уэйру Митчеллу и другим до него, Бабинский утверждал, что «шок», рефлекторное (возможно, синаптическое) торможение, распространяется на непосредственные окрестности повреждения и спинной мозг; однако затем на более высоком уровне в мозгу возникает поражение, сходное с анозогнозией, которую он первым описал в случаях повреждений правого полушария мозга. Работа Бабинского предшествовала выдвинутым Хэдом концепциям «постуральной схемы» или «образа тела» и не упоминала о явно неклассических наблюдениях, которые делал Шеррингтон в отношении повседневных изменений сенсорных и моторных точек в коре мозга экспериментальных животных, показывавших неожиданную пластичность мозга. Наблюдения Бабинского, как и данные Хэда и Шеррингтона, противоречили представлениям о жесткой церебральной локализации и репрезентации, представлениям о жестко запрограммированной

церебральной машине, доминировавшим в XIX веке, и указывали на принципы организации, которые были совершенно иными, более пластичными, более динамичными.

Однако ни Бабинскому, ни Хэду, ни Шеррингтону — так же как позднее Лурии и Леонтьеву — не удалось выявить действующие механизмы, принципы которых они интуитивно улавливали. Не удавалось это и мне, когда в 1974 году я столкнулся с собственной проблемой и обдумывал ее (и проблемы других пациентов) на протяжении последующих лет. Я ясно видел, что подобные ощущения имели физиологическую причину, однако не вызывало сомнения и то, что они не могут быть соотнесены с классической моделью. Мне было понятно, что нужна «неврология идентичности», неврология, которая могла бы объяснить, как различные части тела (и их пространство) могли бы принадлежать (или теряться), показать неврологический базис когерентности и унификации восприятия (особенно после того, как таковое было нарушено травмой или болезнью). Нужна была неврология, которая могла бы выйти за рамки жесткого дуализма тела/разума, жестких физикалистских представлений об «алгоритме» и «паттерне», неврология, которая была бы сравнима по богатству и насыщенности с опытом, с ощущением «сцены» и «музыки», постоянно меняющегося потока восприятия, истории, становления.

Однако мне оставалось неясным, как можно реализовать такую неврологию, и к завершению книги у меня возникло, как я теперь думаю, странное отклонение в сторону мистики — кантовских сфер a priori. Я раскаиваюсь и отказываюсь теперь от этого кантовского заблуждения, однако прийти к нему я был вынужден, как мне кажется, ограничениями физиологии и физиологической теории, которая в 1970-е годы не могла объяснить мои ощущения или какие-либо высшие уровни восприятия и языка. Я не был первым и не буду последним, кто вынужден вступить на этот путь[41].

Происшествие 1984 года с моей правой ногой убедило меня, что время играет ключевую роль в поддержании (или распаде) «образа тела». «Хорошее» течение дел, столь отличное от 1974 года, было результатом отчасти везения (я упал недалеко от больницы, и прооперировали меня без задержек), отчасти эксплицитного понимания важности быстроты в таких случаях. В 1974 году было принято предписывать постельный режим или ограниченные движения после травмы или ампутации конечности, и длительные нарушения «образа тела» были довольно распространены. К 1984 году подход радикально изменился: при ампутации ноги пациенту немедленно

предоставляется временный протез и предлагается с его помощью сойти с операционного стола; такие больные, как я, перенесшие травму ноги, снабжаются гипсовой повязкой, позволяющей ходить, и поощряются в том, чтобы сразу же пользоваться такой возможностью. Как было обнаружено, таким образом удается свести к минимуму любой хиатус в действиях и минимизировать любое уменьшение или изменение «образа тела» — я сам убедился, как быстро это может случиться, когда почувствовал себя лишенным плеча через несколько часов после наложения гипса. То, что время имеет чрезвычайную важность, стало общеизвестным среди ортопедов, хотя еще и требует экспериментального прояснения. И помимо этих вопросов образа тела — потому что «образ тела» может быть первым ментальным конструктом и самоконструктом, тем, который служит моделью для всех остальных, — возникают самые общие вопросы конструкции (и разрушения и реконструкции) всех перцептивных категорий, тех систем (пространственной и иных), в которые они помещаются, вопросы памяти, деятельности, сознания, разума — целая пирамида размышлений, вызванных образом тела.

Технический прогресс, сделавший возможным изучение этих вопросов (по крайней мере самых элементарных), заключался в использовании больших наборов электродов, дающих возможность фиксировать одновременно активность и ее смену в сотнях нейронов, выявляя обширные сенсорные карты и поля в коре головного мозга у живого, возбужденного, воспринимающего человека. Такие исследования, технически невозможные до 1980-х годов, революционизировали наше понимание (взрослого) мозга и его пластичности, а в особенности наше понимание нарушений образа тела после деафферентации или ампутации и выздоровления после них. Особенно велики заслуги в этой области Майкла Мерзенича из Сан-Франциско.

Мерзенич и его коллеги изучали эффекты сенсорной деафферентации (наложения повязок и гипса на конечности или рассечения сенсорных нервов) и ампутации, а также тактильной стимуляции и использования на репрезентацию руки в сенсорной коре. Они показали, что с прекращением поступления сенсорных сигналов от руки происходит быстрое уменьшение или угасание ее карты в коре одновременно с быстрой реорганизацией остающихся входных сигналов. Эти эксперименты показали, что не существует постоянно зарезервированной области для какой-либо части тела. Например, не существует фиксированной области руки. Если рука деафферентирована или инактивирована на какое-то время, она теряет свое место в сенсорной коре. Ее бывшее место в течение часов или дней быстро оказывается

занято картами остального тела, так что теперь мы получаем новую, «безрукую» карту тела в коре. Внутренняя репрезентация инактивированной или деафферентированной части тела отчетливо исчезает, полностью и без следа, исчезает без малейших остатков.

Как обнаружил Мерзенич, никогда не происходит спонтанного оживания или восстановления исчезнувшей из коры карты, — необходимо создание новой организации, вызванной новым опытом, новыми стимулами и действиями. Таким образом, образ тела не является фиксированным, как полагала механистическая, статическая неврология; образ тела динамичен и пластичен — он постоянно должен заново моделироваться, обновляться; он может радикально реорганизовываться в зависимости от опыта[42].

Образ тела не есть нечто a priori зафиксированное в мозгу, это процесс, постоянно адаптирующийся к ощущениям[43].

Каков, можно задаться вопросом, статус руки или ноги или любой части тела, которая утратила свою внутреннюю репрезентацию? Как владелец переживает потерю? Как он себя ведет? Неврологи в таких ситуациях используют термины «игнорирование» или «исчезновение». Если имеет место игнорирование части тела или исчезновение части личного пространства или «поля» (что неизменно сопутствует такому игнорированию), пострадавшее животное или человек этого просто не замечает. Игнорируемая конечность действительно игнорируется: на нее не обращают внимания, с ней обращаются, как если бы она не была частью собственного тела. Это хорошо известно ветеринарам, и описание такого случая может быть найдено в одной из восхитительных книг Херриота: корове, которая никак не могла разродиться, ввели спинальный анестетик. Как только он подействовал, корова успокоилась, перестала обращать внимание на теперь парализованную заднюю часть тела и вернулась к спокойному пережевыванию жвачки; она, казалось, не заметила появления теленка. Корова под воздействием спинального наркоза проявляла полное невнимание, игнорирование своей задней части. Именно таковы и реакции пациента, когда какая-то часть тела выпадает из сознания, то ли в силу мозгового дефицита (особенно правого полушария), то ли периферического. Это наблюдается у больных сухоткой, утративших проприоцепцию своих ног: они проявляют тенденцию располагать ноги в странной, неудобной позиции, застревать в углах, падать со стульев — их ноги теряются, игнорируются (т.е.

остаются незамеченными), когда не оказываются предметом

намеренного визуального внимания[44].

Именно это и случилось со мной, когда я не обращал внимания только так я и узнал, что со мной случилось: я уснул и во сне ненамеренно столкнул свою заключенную в гипс ногу, так что она почти упала с кровати. Потребовалось, чтобы в палату вошла растерянная сестра Сулу и чтобы я сам испытал изумление, поняв, что случилось, чтобы показать мне, что нога полностью выпала из моего сознания, игнорировалась, воспринималась, как не связанная со мной «вещь».

Также бывало и с обезьянками Мерзенича — когда нервы в их конечностях рассекали, или накладывали гипс, или туго перевязывали — или как-то еще деаффертировали, Обезьяны обращались с конечностями безразлично, возможно, неосторожно, они их словно не замечали[45], они не таращились на них зачарованно или испуганно, совсем не казались растерянными или встревоженными. Была ли у них вообще концепция «чуждого»? Не является ли тогда замешательство, ужас, ощущение чужеродности, безместности, безвременности исключительно человеческой реакцией, зависящей от рефлективной, обращенной на себя природы человеческого сознания? Работы Мерзенича по динамической реорганизации кортикальных карт проводились на обезьянках — а я человек. Было ли в моем опыте нечто специфически человеческое?

Эта обращенность на себя - термин, введенный Израэлем Розенфельдом, — может быть имплицитной (как когда животное ведет себя как личность, но не осознает себя) или эксплицитной (когда есть представление о себе). Эта эксплицитная форма обращенности на себя есть суть человеческого сознания; она трансформирует опыт[46].

Ни одно из упомянутых животных — собака мистера В.Р., корова Херриота, обезьянки Мерзенича — не способно сообщить о своем игнорировании. Невозможно и привлечь их внимание к этому обстоятельству — они просто игнорируют свои части, и все тут[47]. Сначала у человека все протекает сходным образом: он щадит конечность, не пользуется ею, не замечает ее, как поступал я. Однако если человек обращает на конечность внимание, как только он обращает на нее внимание, все меняется — угасшая часть теперь воспринимается... но воспринимается как полностью «чуждая». Если вопросы, порожденные игнорированием, указывают на мозговые карты тела в коре, гораздо более сложные вопросы возникают в связи с отчуждением применительно к структуре сознания в целом.

Структура сознания в целом не рассматривалась неврологами — они слишком часто считали, что сознание — это не их дело, а

предмет, который лучше оставить психиатрам; это, несомненно, было реликтом жесткого дуализма XIX столетия, делившего феномены на физические и психические. Именно здесь, в этой ранее недоступной сфере, по мнению Бабинского, и существует «третья область» — область, в которой органические, объективные неврологические нарушения могут тем не менее порождать нарушения сознания. Сначала Бабинский изучал определенные церебральные синдромы — поражения (почти исключительно) правого полушария мозга, поражения, устранявшие осознанность существования левой половины тела (и ее «пространства») — так называемое левостороннее игнорирование, или полушарное невнимание. Подобные внутренние рассечения тела бывает странно наблюдать, они чрезвычайно драматичны[48]. Поскольку больные с полушарным невниманием не осознают своего игнорирования, они не могут описать его или сообщить о нем, как бы велик ни был их интеллект; как ни манит это их, они не могут сказать, на что похож их опыт[49]. Только в случае неповрежденного мозга, столкнувшись с игнорированием или угасанием периферической природы, могут все силы внимания и сознания высшего порядка быть сосредоточены на феномене. Анозогнозия недоступна для интроспекции, инсайта или описания[50], но отчуждение может быть воспринято и описано со всей силой рефлексии, которой обладает пациент; это придает ему уникальный статус, непохожий ни на что в нейропсихологии, уникальную способность показывать базовую структуру самого сознания (потому что тут сознание наблюдает за собой и способно выявить определенную форму собственного нарушения).

Такое различие не всегда было ясным — так, пациенты с анозогнозией или странными угасаниями и неправильным приписыванием частей тела до Бабин- с ко го часто считались шизофрениками или истериками.

Это, хотя и не делалось эксплицитным, было, несомненно, одной из причин того, почему Бабинский после описания кортикальных синдромов полушарного невнимания и анозогнозий обратился к изучению периферических синдромов — великого феноменологического богатства своей syndrome physiopathique. Поэтому и Леонтьев и Запорожец, основатели (вместе с Лурией) нейропсихологии, были во время Второй мировой войны так заворожены рассказами пациентов об отчуждении конечностей; они приписывали эти внутренние ампутации и отчуждения диссоциации гностических систем, нейропсихологическому распаду на высочайшем уровне. Однако Леонтьев и Запорожец все еще оставались приверженцами

объективной неврологии, взгляда на мозг как на систему систем; они не предлагали каких-либо объяснений в терминах структуры сознания полной субъективности описаний пациентов. Пациент с подобным отчуждением может пространно говорить о центральном парадоксе отчуждения — ощущении того, что отчужденная конечность его личности не принадлежит. Он может обнаруживать нарушения памяти, парадоксальную амнезию, противоречащую тому, что он знает. Он может отмечать нарушения личного пространства (которое страдающий агнозией показывает, но не ощущает). Он может констатировать состояние чрезвычайной растерянности, полное разрушение внутреннего ощущения идентичности, памяти, пространства, принадлежащего сфере конечности, в то время как в остальном сознание остается нетронутым и полным. Именно это и испытывал я сам[51].

Такие феноменологические изменения требуют формулировки в терминах не систем, а личности; требуют «неврологии идентичности», требуют создания теории идентичности, памяти, пространства, которая могла бы соединить их друг с другом, показать их неразрывность, показать их как аспекты единого глобального процесса. Они нуждаются, короче говоря, в биологической теории сознания — но таковая была недоступна мне, да и никому вообще, в 1970-е годы.

Так все и оставалось многие годы, пока я не познакомился с работой Джеральда Эдельмана и его выделением первичного и более высокого уровня сознания и их возможного нейронного базиса. Здесь явно не идет речь о простой регистрации внутренних изменений, какие дали бы сенсорное картирование (и категоризация); имеет место также сравнение — сравнение настоящего с прошлым, с тем, что запомнено. Сознание — единый процесс; оно в первую очередь вырастает (как считает Эдельман) из перцептивной категоризации, памяти, научения и различения «я» и «не-я». Из этого первичного сознания, как называет его Эдельман, у человека развивается сознание высшего порядка, с возможностью овладения языком, формирования понятий, мышления. Так понимаемое сознание полностью личностное; оно неразрывно связано с действительно живущим телом, его местоположением и позицией в личном пространстве; оно основывается на памяти, на вспоминании, которое постоянно реконструирует и ре-категоризирует себя. Идентичность, память и пространство, согласно Эдельману, идут вместе; вместе они создают и определяют «первичное сознание». Однако именно эти три аспекта исчезли, когда нога стала мне чужой. Они вместе разрушились и исчезли, оставив, так сказать, дыру — дыру в памяти/идентичности/пространстве.

Эту дыру в памяти/идентичности/простран- стве я теперь мог интерпретировать как дыру в том, что Эдельман называет «первичным» сознанием. Сознание высшего уровня боролось за понимание этого, используя все концепции и язык, которые были в его распоряжении. Сознание высшего уровня смотрело в пропасть, могло находить концепции или термины для того, что обнаруживало («чуждый», «аномальный», «лишенный места», «лишенный прошлого»), но совершенно ничего не могло с этим сделать. Не могло сознание высшего уровня и чем-то заменить его — я мог использовать символический и лингвистический конструкт «нога», но он был лишен для меня какой-либо субъективной реальности. Сознание высшего уровня основывается на первичном сознании и может лишь передавать и отражать его, что означает его символизацию, в данном случае как метафору отсутствия. «Ничто, — как напоминает нам Беккет, — более реально, чем нечто».

«Нейропсихологические наблюдения, — подчеркивает Эдельман, — предлагают редкую возможность протестировать теории сознания в терминах модально-специфических потерь и влияния болезни на память, язык и навыки» (1990, с. 25). Простейшим таким тестом оказывается чувство отчуждения, показывающее нам по умолчанию структуру сознания. Отчуждение представляет собой центральную потерю первичного сознания в том виде, как она воспринимается человеческим сознанием высшего порядка.

То, что местное повреждение и притом периферийное способно вызвать значительное нарушение сознания, может показаться весьма удивительным. Однако это объясняется тем, что до сих пор мы не имеем адекватной «снизу вверх» теории сознания, не поняли его биологических основ в перцептивных процессах и их картирования в организме. Изменения первичных воспринимающих областей — нарушения «местного картирования», как показывает Эдельман, — достаточная причина изменений сознания; нет необходимости привлекать какие-то дополнительные причины (такие, как одновременно наличествующий «сверху вниз» невроз или психоз)[52].

Несомненно, при отчуждении возникает диссоциация. Леонтьев и Запорожец называют ее «диссоциацией гностических систем», но на самом деле это диссоциация сознания — между первичным сознанием, которое полностью, но локально отключено, и сознанием высшего уровня, которое совершенно не затронуто и, так сказать, прозрачно, так что может и должно передавать опустошение ниже, хотя делает это по-своему. В этом смысле «Нога как точка опоры» не просто история ноги, а отчет

изнутри о том, что представляет собой первичное сознание; отчет, который может предоставить только переживание отчуждения, и ничто больше!

Первичное сознание, конечно, обычно невидимо — оно автоматическое, скрытое, как и все, что нормально. Его присутствие, как ни парадоксально, скрывает себя. Только когда оно сильно нарушается, тогда оно может стать и становится объектом внимания. Это верно для любой патологии — будучи негативным явлением, она делает поразительно заметным (подчас ужасно заметным) то, что нормально скрыто. Поэтому-то Гиппократ две с половиной тысячи лет назад говорил о парадоксальной силе «патографий» приподнимать покрывало, открывать обычно скрытую природу тела и ума.

И все же такие патографии — превратности сознания — в той мере, в какой они связаны с нейропсихологическими состояниями, чрезвычайно, почти до исчезновения редки. «Такие синдромы встречаются часто, — писал мне Лурия, — но очень редко описываются».

«Пожалуйста, опубликуйте свои наблюдения, — продолжал он. — Это поможет изменить «ветеринарный» подход к периферическим нарушениям». Ему было ясно, что чисто «ветеринарный» подход не может дать понимания таких нарушений, что отчуждение не может быть измерено или снято на пленку, оно может быть только описано тем, кто его испытывает, мыслящим наблюдателем- человеком. Однако неврология по большей части занятие ветеринарное — она имеет дело главным образом с тем, что может быть измерено и протестировано, и почти не касается внутреннего опыта, внутренней структуры, субъективности субъекта. Она гордится умением исключить их, тем, что она — полностью «объективная» наука, тем, что занимается (как и физика) явлениями видимыми, демонстрируемыми. Она исключает психические состояния, сознание, потому что они «субъективны» и приватны, не могут быть проверены (или подтверждены) обычным способом. Никакие «личные» термины в неврологии не допускаются — термин «сознание», когда применяется, относится только к генерализованному возбуждению в противоположность ступору или коме. У нас нет «неврологии идентичности».

И тем не менее всегда было интуитивно ясно — а теперь становится признанным и формально, — что мы ни в коей мере не машины и не безличные автоматы; что весь опыт, все восприятие с самого начала ориентированы на самого себя: наши воспоминания являются не воспоминаниями компьютера, а организованным, категоризированным личным опытом, что

«время» и «пространство» не являются физическими временем и пространством, но временем и пространством в отношении нас самих. В мозгу нет репрезентации абстрактного «пространства» — есть только репрезентация нашего собственного, индивидуального, «личностного пространства» (как ясно показывается феноменом «полушарного угасания», рассечения надвое личной модели мира). В первую очередь и главным образом ясно, что наши тела — личные, что они первое, что определяет Эго и «я». (Как писал Фрейд, Эго в первую очередь есть телесное Эго.) Однако ничто из этого не вошло в неврологию. Неврология все еще базируется на механистической модели — даже «системная» неврология Лурии и Леонтьева. Механистическая модель уходит корнями в труды Декарта — в его дихотомию души и тела, его представление о теле как об автомате и знающем и волеизъявляющем «я», каким-то образом плавающем над ним.

Однако клинический и личный опыт — такой опыт, который я описываю в этой книге, — совершенно несовместим с подобным дуализмом; он показывает банкротство классической модели и потребность в личностной неврологии, в понимании того, что наши нервы и мозг — наши с самого начала и что в своих восприятии и категоризации, воспоминаниях и моделях, в существующем уровне концепций и сознания они продолжают быть нашими, полностью обращенными на себя.

Неврология должна совершить огромный прыжок — прыжок от механистической, «классической» модели, которой придерживалась так долго, к полностью личностной, обращенной на себя модели мозга и разума. Существуют многочисленные признаки того, что такая трансформация может произойти. И если это случится, как любит подчеркивать Эдельман, это будет самая значительная революция нашего времени — столь же значительная, какой была революция в физике, основанная на взглядах Галилея, четыре столетия назад.

Аннотированная библиография

Первые ясные описания паралича, шока, отчуждения конечностей в результате периферических поражений были представлены Сайлесом Уэйром Митчеллом, Г,Р. Морхаусом и У.У. Кином в циркуляре главного врача государственной службы здравоохранения от 10 марта 1864 года (перепечатан с вводной статьей Дж. Ф. Фултона в 1941 году в «Исторической библиотеке» Медицинской школы Йельского университета»),

Ж. Бабинский (совместно с Ж. Фроментом) опубликовал две монографии по истерии («питиатизму») и по центральным последствиям периферических поражений («физиопатий»), наблюдавшихся во время Первой мировой войны. Позднее эти работы были объединены в одном томе под названием «Hysterie-Pithiatism et Troubles Nerveux d'Ordre Riflexe: Syndrome Physiopathique» (Париж, изд-во Массон, 1917). Перевод, выполненный Дж. Д. Роллстоном, был опубликован в Лондоне на следующий год издательством University of London Press.

Несравненное описание Генри Хэдом формирования постуральных схем («образов тела») в мозгу может быть найдено в его великой книге «Исследования по неврологии» (Studies in Neurology. Oxford: Oxford University Press, 1920, vol. 2), особенно на стр. 605-608, 669, 722-726 и 754.

А.Н. Леонтьев и А.В. Запорожец опубликовали свои исследования «внутренней ампутации» и отчуждения как следствия трави и операций руки в работе «Восстановление движений. Исследование функций руки после ранения» (русское издание 1948 г.; английское издание в переводе Бэзтла Хейга под редакцией У.Р Рассела, Oxford and New York: Pergamon Press, 1960). Я рассматриваю эту книгу как настоящее сокровище феноменологических описаний и очень точных нейропсихологических формулировок.

Последняя книга Джеральда М. Эдельмана «Вспомненное настоящее: биологическая теория сознания» (The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness. New York: Basic Books, 1990) содержит объединенную нейробиологическую теорию, полностью охватывающую восприятие, память, научение, язык и сознание, как мы их знаем, — именно о такой теории мечтал Уильям Джемс, но которая стала реальностью только теперь, в последнее десятилетие XX века.

Израэль Розенфельд приводит очень оригинальную и радикальную критику неврологии и показывает новые пути рассмотрения неврологических синдромов. Его новейшая книга

— «Мои личности и Я» (My Selves and I. New York: Knopf, 1991). В одной ее части («Поддельная нога и банкротство классической неврологии») он существенное внимание уделяет тем феноменам, которые я описываю в книге «Нога как точка опоры».

Возможно, мне следовало бы добавить с библиографическими целями, что о своем опыте я писал дважды до публикации «Нога как точка опоры» (более подробно в «The Leg», London Review of Books, 17—30 June, 1982: pp. 3—5, и кратко в «The Nature of Consciousness», Harper's Magazine, December 1975). В более недавнее время я обсуждал образ тела в книге «Человек, который принял жену за шляпу» («The Man who Mistook his Wife for a Hat», London: Picador, 1986), особенно в главах «Бестелесная Кристи», «Руки», «Фантомы», «Направо, кругом!» и, конечно, «Человек, который выпал из кровати», и в статье «Неврология и душа» («Neurology and the Soul», 22 November 1990, New York Review of Books).

Благодарности

Я глубоко признателен врачам, физиотерапевтам, сестрам и всему персоналу, которые так заботились обо мне, когда я был «невозможным» пациентом. Я также благодарен доктору Генри Флеку, который впоследствии провел электрическое исследование моей поврежденной ноги. Хочу также поблагодарить своих редакторов — Мэри-Кей Вилмерс, Кейт Эдгар, Джима Зилбермана и в первую очередь Колина Хэйкрафта за их помощь в создании этой книги (что было особенно трудной редакторской работой, потому что исходная рукопись включала 300 ООО слов). Было особенно приятно через семнадцать лет получить возможность вернуться к загадкам опыта 1974 года с чувством, что теперь они могут быть разгаданы. Я чувствую себя в большом долгу перед Израэлем Розенфельдом за вдохновляющее обсуждение вопросов, поднятых в моем послесловии 1991 года, и за то, как щедро он делился со мной своими идеями. Я особо обязан Джонатану Миллеру, предложившему название: «Нога как точка опоры».

notes

Примечания

1

Монтень М. Опыты. Кн. 3, гл. 13.*Пер. Н. Рыковой.*

2

Манн Т. Волшебная гора. *Пер. В. Станевич.*

3

Библия, Еккл. 4:9—10.

4

Библия, Еккл. 3:19.

5

Библия, Еккл. 3:1—2.

6

Глютеальный (от *гр.* glutos — ягодица) — ягодичный, относящийся к ягодичной области. — *Примеч. ред.*

7

Аквавит —скандинавский алкогольный напиток, крепостью 38—50 градусов. Название происходит от латинского выражения aquva vitae, что переводится как «водажизни», «живая вода». — *Примеч. ред.*

8

Асбестоз — хроническое профессиональное заболевание органов дыхания, развивающееся при длительном вдыхании пыли асбеста. — *Примеч. ред.*

9

Кинестезия (от *гр.* kinesis — движение и aisthesis — чувство, ощущение) — так называемое мышечное чувство, чувство положения и перемещения как отдельных членов, так и всего человеческого тела. — *Примеч. ред.*

10

Никогда не виденное.

11

Джонсон Сэмюэл (1709—1784) — выдающийся английский лексикограф, критик, эссеист, поэт. — *Примеч. пер.*

12

Беркли Джордж (1685—1753) — английский философ, представитель субъективного идеализма. — *Примеч. пер.*

13

Витгенштейн Людвиг (1889—1951) — австроанглийский философ, один из основателей аналитической философии. — *Примеч. пер.*

14

Скотома (от гр, skotos — темнота) — небольшой участок в пределах поля зрения, в которой зрение ослаблено или полностью отсутствует. — *Примеч. пер.*

15

Хиатус (от лат. hiatus) — щель, расселина, зев, зияние. — *Примеч. ред.*

16

Листер Джозеф (1827—1912) — английский хирург и ученый, создатель хирургической антисептики. — *Примеч. пер.*

17

Библия, Книга Иова, 10:20.

18

Хуан де ла Крус. Темная ночь души.

19

Донн Джон. Вечерня в День святой Люции, самый короткий день в году.

20

Библия, Пс., 70:20.

21

Гарвей В. Motu Locali Animalium. Вильям Гарвей (1578 — 1657) — знаменитый английский врач, основоположник физиологии и эмбриологии. — *Примеч. пер.*

Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир. М.: Изд-во МГУ, 1971.

23

Освобожденное движение (*лат.*).

24

Библия. Иов. 38:4—5.

25

Библия. Иов. 19:23.

26

Перцепция (от *лат.* perceptio — представление, восприятие) — познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира. — *Примеч. ред.*

Спасайтесь ходьбой (лат.). — *Примеч. ред.*

28

Ницше Ф. Esse homo. Собр. соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. *Пер. Ю.М, Антоновского.*

29

Параллакс (от *гр.* parallaksis — уклонение) — изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. — *Примеч. ред.*

30

Пантеизм (от *гр.* pan — все и theos — бог) — религиозное и философское учение, объединяющее и иногда отожествляющее Бога и мир. — *Примеч. ред.*

31

Когнитивный (от *лат.* cognitio — знание, познание) — основанный на знаниях. — *Примеч. ред.*

32

Дунс Скотт Иоанн — английский францисканец, знаменитый схоластик, сторонник индетерминизма, то есть учения о безусловной свободе человеческой воли. — *Примеч. ред.*

33

Бабинский говорил о «третьей сфере» — не истерической, не органической в классическом (нейроанатомическом) смысле, а являющейся следствием шока и распространяющегося торможения в спинномозговых и периферических механизмах: полном посттравматическом физиологическом поражении. Моя собственная «физиопатия» явно принадлежала к этой «третьей сфере». — *Примеч. авт.*

Кант И. Критика чистого разума. *Пер. Н.О. Лосского.*

Кант И. Критика чистого разума. *Пер. Н. О. Лосского.*

36

Я не мог не задуматься о том, что испытывают женщины, рожающие под спинальным наркозом: не распространяется ли чувство отчужденности на ребенка, появляющегося при таких обстоятельствах, не перестает ли он быть плотью от плоти матери, не делается ли не-плотью от чьей-то не-плоти? Я понял, насколько мудрым является стремление проводить роды под более мягким, менее аннигилирующим эпидуральным наркозом, хоть и в меньшей мере снимающим боль, чем полный спинальный. — *Примеч. авт.*

37

Я недавно получил письмо от коллеги, в котором она описывала «совершенно неожиданные» последствия того, что представлялось простым переломом — дислокацией щиколотки. Она предполагала, что выздоровление будет проходить без осложнений — произойдет немедленное восстановление всех сложных движений и умений, которыми она раньше обладала, как только это стало бы физически возможным. Однако, к ее изумлению, случилось иначе; она обнаружила, что после того как нога через несколько недель была освобождена от гипса, она лишилась всевозможных ранее автоматических движений и была вынуждена учиться им заново. В этом действительно опасность неподвижности и ортопедических ограничений: сложные движения не совершаются, не практикуются внутренне — и человек не может вообразить себе движения, которые физически невозможны, которые через несколько недель оказываются забыты — и затем делаются неврологически, нейропсихологически невозможными» — *Примеч. авт.*

38

В 1974 году Лурия поинтересовался, считаю ли я важным то, что нога была левой, — возникли бы, например, сходные синдромы, если бы повреждена и прооперирована оказалась правая нога? В то время я не мог ему ответить; его вопрос вспомнился мне, когда я невольно попал в контрольную группу. Интерес Лурии был связан с тем, что центральные синдромы невнимания, отчуждения (синдром Потцля и т.д.) обычно поражают левую сторону тела и связаны с повреждениями недоминантного полушария, которое по сравнению с доминантным обладает гораздо более низким уровнем сознания. Не предотвратил бы более высокий уровень, интересовался Лурия, возникновения синдрома на противоположной стороне? — *Примеч. авт.*

39

Я, как и другие, иногда испытывал на приеме у дантиста неожиданное «исчезновение» челюсти, как только начинал действовать новокаин, — чувство странной информированности, так что приходилось заглядывать в зеркальце дантиста, чтобы обнадежить себя. Отражение в таких случаях и успокаивает, и нет: челюсть видна, но выглядит нереальной, не принадлежащей себе, какой и чувствуется. (Это особенно часто случается, когда анестетик вкалывается с обеих сторон одновременно; поэтому дантисты предпочитают делать укол в разные участки десны по очереди.) — *Примеч. авт.*

40

В конце 1983 года я послал в «Бритиш медикал джорнэл» заметку для их раздела «Клинические курьезы». Она им понравилась, но была отклонена на том основании, что была слишком длинной. Когда моя правая рука оказалась иммобилизованной, я послал им другой «клинический курьез», длиной всего в пятьдесят слов. Они были поражены его краткостью и немедленно приняли заметку к публикации, но поинтересовались, как кто-то, обладающий моим многословием, сумел ограничить себя так сурово? Когда я сообщил о своем несчастном случае, о том, что мне приходится писать левой рукой, мне ответили: «Нам жаль, что с Вами такое случилось, но это замечательно улучшило Ваш стиль?» Эта первая заметка, как и другие, написанные с такими мучениями, касалась в основном фантомов (они были потом включены в «Человека, который принял свою жену за шляпу»). Один случай, который я описал в то время, касался пациентки, которая в результате сенсорной невропатии совершенно утратила проприоцепцию и телесный образ, всякое ощущение своего тела. Другим примером была женщина, которая после инсульта утратила всякое представление о «левизне» в своем теле и в личном пространстве (оба эти примера также вошли в «Человека, который принял свою жену за шляпу»), — *Примеч. авт.*

41

«Как получается, что вы, неврологи, в конце концов становитесь мистиками?» — однажды спросила меня психоаналитик Кэрол Фельдман; этот вопрос уходит глубоко в эпистемологию — ив психику. См. «Неврология и душа», «Неа Торкревью оф букс», 11 ноября 1990 г. — *Примеч. авт.*

42

Карты репрезентации в коре мозга у взрослых «зависимы от употребления», как пишет Мерзенич; они на протяжении жизни функционируют динамически. — *Примеч. авт.*

Однако если это так, возникает вопрос: как насчет фантомов — этих странных фиксированных образов конечностей, которые могут сохраняться на протяжении многих лет после ампутации? Окаменелые образы, так сказать, не соответствующие существующей реальности».. Представляется вероятным, что фантомы поддерживаются, по крайней мере в значительной степени, продолжающимся (патологическим) периферическим возбуждением — например, рассеченных нервов конечности (возможной и центральным тоже). Это особенно очевидно, если имеет место формирование невромы в культе нерва; невромы часто вызывают мучительно болезненные фантомы. Если поступление периферических сигналов прекращается, фантом исчезает — я наблюдал это у одного пациента с фантомным пальцем; фантом исчез, когда больной утратил чувствительность пальцев из-за диабетической невропатии. Напротив, стимуляция периферического нерва имеет тенденцию стимулировать фантом, что может использоваться с этой целью перенесшими ампутацию: они могут использовать образ фантома для приведения в действие протеза. Фантомы также могут стимулироваться или устраняться стимуляцией или анестезией соответствующих спинномозговых корешков. (Эти и другие феномены обсуждаются в книге «Человек, который принял жену за шляпу».) — *Примеч. авт.*

44

Во время написания книги «Нога как точка опоры» я думал, что потеря проприоцепции — достаточное условие для «отказа» и «отчуждения»» Теперь я думаю, что этого достаточно для «отказа», но не для «отчуждения». Так, больные сухоткой, хотя «теряют» конечности, не рассматривают их как «чужие», И Кристина, «лишившаяся тела» леди, которую я описываю в «Человеке, который принял жену за шляпу», хотя была способна (я видел это несколько раз) принять свою руку, когда на нее не смотрела, за чью-то еще, никогда не рассматривала свою руку как «чужую». Требуется, как считает И. Розенфельд, не только потеря проприоцепции, но потеря боли и других ощущений, чтобы конечность воспринималась как «чужая» (Розенфельд, 1991). — *Примеч. авт.*

45

Однажды один из моих студентов перенес сильное обморожение; ему казалось, что его пальцы ампутированы и у него остался только ужасный, в форме дубинки кулак, Когда анестезия длится долго, возникает большая опасность повреждения тех частей, которые игнорируются, — отсюда постоянные несчастья с конечностями у больных проказой. — *Примеч. авт.*

46

«Под обращенностью на себя, — пишет Розенфельд, — я понимаю обращенность к динамическому образу тела.,. Наше «я» определяется способами использования своего тела, самими движениями тела, движениями, которые мы обретаем со временем; именно к этому динамическому образу обращены стимулы (обращенность на себя) и в связи с которым стимулы имеют смысл,,. Каждое воспоминание обращено не только на личность или объект, который помнится, но на личность, которая помнит» (Розенфельд, 1991). — *Примеч. авт.*

47

Может ли собака иметь истерию или «чуждую» конечность? А мартышка? А человекообразная обезьяна? Мне кажется, что не может, хотя говорят, что у собачки Фрейда развилась истерическая беременность (что вызвало ироническое замечание Фрейда о том, что такое могло произойти только в доме психоаналитика). Думаю, что не может такого случиться и с обезьянками, каких использовал Мерзенич, Однако подозреваю, что с человекообразной обезьяной это могло бы случиться: у нее определенно могло бы развиться отчуждение конечности и менее определенно, но возможно — истерия; по-разному, в зависимости от наличия более высокого, обращенного на себя сознания, эксплицитного чувства «я», которое, по- видимому, имеют человекообразные обезьяны, но не более низкоорганизованные животные. Так, человекообразные обезьяны могут узнавать себя в зеркале, в то время как мартышки и собаки не могут. — *Примеч. авт.*

Пациенты с подобным поражением, можно сказать, живут в половине вселенной, не осознавая, конечно, того, что это половина вселенной, потому что для них вселенная — нерассеченная, полная и цельная. Таким образом, обычно восприятие, идея, воспоминание о «левизне» — как у пациента, историю болезни которого под названием «Глаза направо!» я привожу в книге «Человек, который принял свою жену за шляпу», — исчезает. «Когда игнорирование выражено, — пишет М. Месулам, — пациент может вести себя так, словно половина вселенной внезапно перестала существовать в какой-либо значимой форме.,. Пациенты с унилатеральным игнорированием ведут себя так, как будто не только ничего не происходит в левой половине пространства, но и нельзя ожидать, что там произойдет что-то важное».

Такие пациенты, считает Эдельман, не испытывают провала или разделения сознания, но проявляют радикально реорганизованное сознание, так что новое сознание воспринимается как полное и цельное, — *Примеч. авт.*

То же самое, но совершенно иным образом, происходит при истерии. Так, истерик, жалуясь на паралич, онемение и т.д., не осознает того, что их причина лежит в аффекте и концепциях, в изменениях сознания. Действительно, если такие патогенные изменения удается осознать, истерия исчезает; истерия, таким образом, зависит от бессознательного — хотя и бессознательного, совершенно отличного от такового у анозогнозика. — *Примеч. авт.*

51

«Самым ужасный было то... что нога не «была перемещена», а на самом деле лишилась своего места. Нога исчезла, забрав с собой свое «место», И поскольку больше не было никакого места, куда можно было бы вернуться... не было и возможности вернуть ногу. Могла ли помочь память там, где воля бессильна? Нет! Нога исчезла, забрав с собой свое «прошлое»! Я больше не мог вспомнить обладание ногой. Я не мог вспомнить, как я когда-либо ходил или поднимался в гору. Я чувствовал себя необъяснимо отрезанным от того человека, который ходил, бегал, поднимался в гору всего пять дней назад, Между нами существовала лишь «формальная» непрерывность. Существовал провал — абсолютный провал — между «тогда» и «теперь», и в этом провале, в этой пропасти исчез бывший «я»... В этом провале, в этой пропасти, вне времени и пространства исчезли реальность и возможности ноги,., растворились в воздухе, исчезли из времени и пространства, исчезли, забрав с собой свое пространство и время». — *Примеч. авт.*

52

Нейропсихологические синдромы представляют собой «снизу вверх» нарушения, в которых неврологические поражения более низкого уровня вызывают психологические поражения более высокого уровня. Истерия, напротив, представляет собой нарушение «сверху вниз», где первичное поражение возникает на самом высоком уровне — в сознании высшего уровня, символическом и лингвистическом, — любое поражение на более низких уровнях является вторичным по отношению к нему. Существует первичное нарушение местного картирования и нарушение первичного сознания при отчуждении, но при истерии они отсутствуют. (Могут, конечно, присутствовать некоторые вторичные нарушения.) Сознание высшего уровня (которое включает психоаналитическое бессознательное) при истерии отличается специфическими интенсивными аффектами, в то время как при отчуждении оно лишь смущено. Мы никогда не можем знать первичное сознание напрямую, подчеркивает Эдельман, мы можем узнать о нем только через сознание высшего уровня. Животные, лишенные сознания высшего уровня, могут напрямую испытывать его, но не могут о нем рассказать. Если и существует ситуация, когда человек может сообщить о проявлениях первичного сознания, не загрязненных сознанием высшего уровня, как предполагает Эдельман, — то только в случаях пациентов с «разделенным мозгом», когда левое и правое полушария разделены хирургически. Такие пациенты смогут сообщать о восприятии (со стороны левой половины тела или левого полуполя зрения), не модулированном лингвистическими или рефлективными силами левого полушария (см. примечание на стр. 284).